

2/2026

Путеводная звезда

12+

школьное
чтение

ДЖЕК ЛОНДОН

Сын Волка

Сборник рассказов

ГУМАНИТАРНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
РЕКОМЕНДОВАН МИНИСТЕРСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
И ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАЛ ПИСАТЕЛЬ
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
в 1996 году

Главный редактор:
ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ

Редакционная коллегия:
ИРИНА АРЗАМАСЦЕВА,
критик, доктор филологических наук

ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ,
писатель

ЛОЛА ЗВОНАРЕВА,
критик, доктор исторических наук

ИРИНА КРАЕВА,
писатель

ЕЛЕНА НЕСТЕРИНА,
писатель

Обложка, титул:

ПЕТР ЛЮБАЕВ

Художник:

АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ

Над номером работали:

ПОЛИНА МОРДОВИНА,
СВЕТЛАНА МОРОЗОВА

Корректор:

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА

Адрес редакции:

101990, Москва, Армянский пер., 11/2а.
Тел.: (495) 625-8200, 623-5868,
факс: (495) 624-2490.
pzy@defond.org

Отпечатано в ООО «Кировская областная
типография».

610004, г. Киров, ул. Ленина, 28.
www.printkirov.ru
Тираж 3000 экз.

Журнал зарегистрирован МПТР РФ.
Свидетельство ПИ № 77-5947
от 21.12.2000 г.

Журнал издается при финансовой
поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Рукописи, присланные в редакцию,
не возвращаются и не рецензируются.

При оформлении журнала использованы
иллюстрации с сайта www.pixabay.com

Учредитель:

Международная ассоциация детских
фондов, Д.А. ЛИХАНОВ
© «Путеводная звезда. Школьные чтения»,
2005

Почему я советую вам прочитать именно это

**Алексей
ДУНЕВ,**
писатель, филолог,
г. Санкт-Петербург



Романтика подвига

Мя Джека Лондона имеет особый привкус романтических путешествий, суровых испытаний, упорной борьбы и победы над трудностями. Только сейчас, по прошествии многих лет, я стал задумываться, почему в ранней юности мне так нравились произведения этого американского писателя. Времена «золотой лихорадки», освоения Северной Америки, общения с дикими и таинственными индейцами завораживали детское воображение. Сильные люди преодолевали все препятствия: нестерпимый мороз, изнуряющий голод, битву с дикими животными, злобными врагами – и побеждали. Хочется верить, что и современные юные читатели смогут испытать яркие эмоции и воспринять великолепные образы, созданные Джеком Лондоном больше ста лет назад. Его писательский талант раскрывается в способности погрузить читателя в экстремальную ситуацию и показать романтику подвига ради жизни. В центре почти любого рассказа – сильный характер, который требует соответствия идеалу, соблюдения моральных правил и следования нравственным принципам. Слова из рассказа «Сын волка» вполне могут быть отнесены и к самому Джеку Лондону – «рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия – волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть».

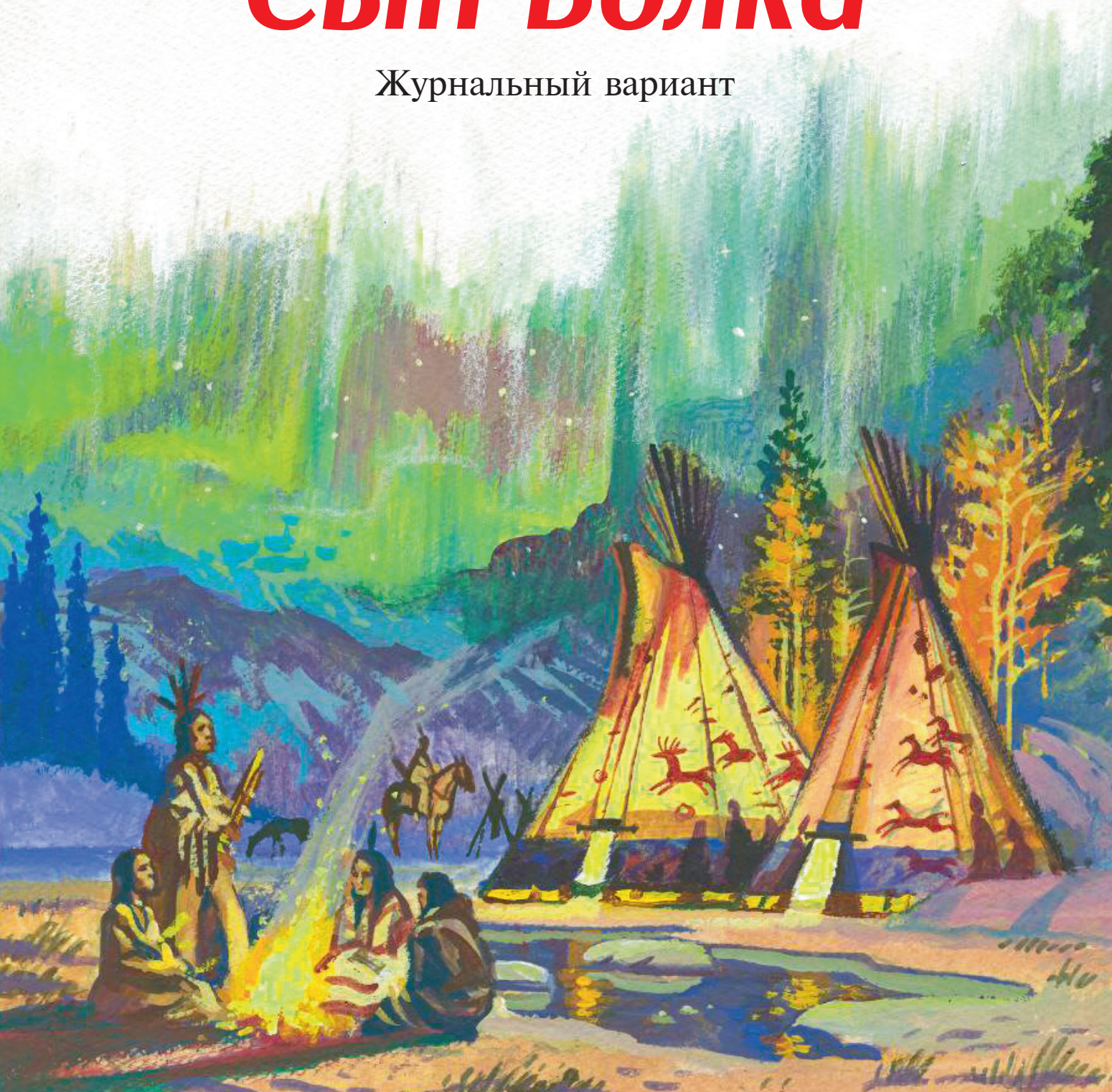
В 2026 году исполняется 150 лет со дня рождения Джека Лондона. Мысли и чувства, вложенные в тексты о человеке, попавшем в сложные условия, волнуют нас и сейчас, заставляют ставить себя на место персонажа и искать в себе ресурсы для того, чтобы силой духа и твердостью характера не уступать бессмертным героям Джека Лондона.

ДЖЕК ЛОНДОН

Сборник рассказов

Сын Волка

Журнальный вариант



Белое безмолвие

— Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились, — сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку. — Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума: он...

Раз! Отощавший пес взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я и говорю, посмотри на Шукума: Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, не пройдет и недели, как он задерет Кармен.

— А я, — сказал Мэйлмют Кид, переворачивая хлеб, оттаивающий у костра, — бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Киды на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось.

Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего дней на шесть, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском.

— С завтрашнего дня никаких завтраков, — сказал Мэйлмют Кид, — и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, набросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас вдоволь чая. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вьючную скотину.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом, — вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку бело-

Джек Лондон



Джек Лондон (урождённый Джон Гриффит Чейни, 1876–1916 гг.) – американский писатель и журналист, общественный деятель. Приобрел ми-

ровую славу как автор приключенческих романов и рассказов.

Уже после рождения сына мать будущего писателя вышла замуж за ветерана Гражданской войны в США Джона Лондона. Он стал для маленького Джона настоящим отцом. С раннего возраста Джон любил, чтобы его называли Джек (сокращенный вариант имени Джон), и это имя закрепилось за ним на всю жизнь. После окончания начальной школы 14-летний Джек Лондон не смог продолжить образование – его семья жила на грани нищеты. В 1893 году он нанялся матросом на промысловую шхуну, которая отправилась к берегам Японии на лов-

лю котиков. Это плавание подарило Джеку массу ярких впечатлений, которые в дальнейшем легли в основу многих его произведений. Литературный талант у Джека Лондона проснулся еще в школьные годы. Однажды местная газета назначила денежную премию за лучший рассказ, и произведение Джека Лондона заняло первое место. Окрыленный успехом, он принял важное для себя решение – посвятить жизнь литературе. Из-под его пера вышли «Северные рассказы», «Зов предков», «Белый клык», «Мартин Иден», «Время-не-ждет» и многие другие произведения, которые прославили его на весь мир.

го человека и поедem к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода — словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, двадцать снов — для большей наглядности Мэйсон отсчитывал дни на пальцах, — и все время вода, плохая вода. Потом приедem в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять, двадцать сосен!.. Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... в ящик, и — пифф! — поехали. — В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали! О великие шаманы! Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-сити — двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в Форте Юкон, а я — в Арктик-сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатались со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали, потихоньку повизгивая, натягивать постромки, уперся в поворотный шест и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогавший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну вперед, хромоногие! — пробормотал он

после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на севере — тяжелый, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются, и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, — пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через сто ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по великой Северной Тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и подавленные величием Белого Безмолвия путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом — надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с Богом.

День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем.

Нарты сползали вниз, несмотря на то, что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы.

Выше, еще выше — нартвы выбрались на берег. Но тут вожак потянул упряжку вправо, и нартвы наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нартвы покатались вниз по откосу, увлекая за собой упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид. — Несчастливая и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, — и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок.

То была трудная, тягостная минута для путников: издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нартвы снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а, может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина, ни единого движения не было в осыпанном снегом лесу; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг в воздухе пронесся вздох; они даже не услышали, а скорее ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль

в трагедии жизни. Мэйсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец, Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог: натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз, — способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре: перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон, — он перенесся в Восточный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно за-

бытого южного города: он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все, и каждое слово отдавалось в его душе — так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя, и Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот:

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьи Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдывает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни: это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, стой!.. надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кид натянул на себя парку, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэйсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул

страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь иступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль оставалось не более пяти фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой. Свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих собратьев.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело: Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомех и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича смилив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послуша-

нию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа, — ее народ не знает такого обычая, — а потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впаавшему в беспамятство; Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым сочувствием, а прозрачно-чистое и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно.

Прошел час, два — Мэйсон не умирал. В полдень солнце не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним. Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

Сын Волка

Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина, — во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме; но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильнодействующими лекарствами. Но голод не отпускает — напротив, мучит все сильнее; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм; и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его, наконец, осеняет.

Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происхо-

дит летом, а зимою запрягает своих собак — и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женою, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк еще не испытал золотой лихорадки и нашествия чечако и славился только как место, где отлично ловится лосось.

В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами природы; и самыми тяжелыми были последние два года, проведенные в поисках золота, таящегося под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой Мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.

Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжелый труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль по льду на собаках, потом плыть за две тысячи миль через океан и, наконец, еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде, — и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.

Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстроногой и непри-

хотливой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случилось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием; но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.

Прежде всего он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Тлинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чаю и табаку и тем завоевал его благосклонность. Затем свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот же вечер задал им потлач. В снегу была вытоптана овальная площадка около ста футов в длину и двадцать пять в ширину. Посередине развели огромный костер, по обе его стороны настлали еловых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню.

За эти два года Бирюк Маккензи выучился языку индейцев — запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на аляповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг-Тиннех и шаман отвечали ему в том же стиле, потом он оделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре «пятьдесят два».

Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному — тут чувствовались и вызов и похвальба; и нетрудно было понять, в чем дело, — стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей — Сыновей Волка, — но эти немногие преподали им кое-какие уроки.

При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей

серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кампании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц; черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, он возьмет ее в жены и назовет... да, он будет звать ее Гертрудой! Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул — истинный сын рода победителей.

Это была нелегкая задача, она требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро, и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с шестисот ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинг-Тиннеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур. Он хвастал без удержу и не скупился на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману: он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж держался до крайности надменно, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников.

Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин всякий раз, как мужчины были далеко и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился; притом он знал, что она поневоле думает о нем, — так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку.

Наконец однажды вечером он решил, что настало время действовать; внезапно поднявшись, он вышел из душного, прокуренного жилища вождя и быстро прошел в соседний вигвам. Заринка по обыкновению сидела окруженная женщинами и молодыми девушками; все они были заняты делом: шили мокасины или расшивали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по адресу его и Заринки; но он без церемоний, одну за другой вышвырнул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о случившемся.

Он весьма убедительно изложил Заринке все,

что хотел сказать, на ее родном языке (его языка она не знала) и часа через два собрался уходить.

— Так, значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека? Хорошо! Сейчас я поговорю с твоим отцом, может быть, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», говоришь ты? Что ж, хорошо! Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека.

Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на устилавший пол медвежий мех; лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы; она робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Но следующий жест девушки рассеял его подозрения, и он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося; на них были вышиты бисером яркие фантастические узоры. Вытащила большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала его пальцем и вложила в новые ножны. Потом надела их на пояс и сдвинула на обычное место — у левого бедра.

Право же, это было совсем как сцена из далекой старины: дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ — для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка. Так встретился каменный век с веком стали.

Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинг-Тиннеха, вокруг чувствовалось необычайное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача, болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались, а из жилища шамана доносились злоеющие звуки заклинаний.

Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собой тусклыми, остановившимися глазами, но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место в знак того, что обручение совершилось, и немедленно приступил к делу.

— О Тлинг-Тиннех, могучий повелитель племени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя! Белого человека привела к тебе великая цель. Уже много лун

жилище его пусто, и он одинок. Сердце его то-скает в тиши и томится о женщине — пусть сидит рядом с ним в его жилище, пусть встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи, он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон — твой предок, великий Ворон, отец племени стиксов — явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал Ворон одинокому белому человеку: «Надень мокасины, и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тиннеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где охотится великий Тлинг-Тиннех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой — Тлинг-Тиннех — станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту девушку возмешь ты в жены». Так говорил великий Ворон, о вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять в жены твою дочь.

Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, сообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез.

— О белый человек, которого мы называли Грозой Лосей, известный также под именем Волка и Сына Волка! Мы знаем, ты производишь из великого племени; мы горды тем, что ты был нашим гостем; но кета не пара лососю. Так и Волк не пара Ворону.

— Неверно! — воскликнул Маккензи. — Я встречал дочерей Ворона в лагерях Волка — у Мортимера, у Треджидго, у Бэрнеби, — в его жилище скво вошла два ледохода назад; и я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами.

— Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки: все равно что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мэйсон и его скво? Нет? Он первым из Волков пришел сюда, десять ледоходов тому назад. С ним был великан, могучий, как медведь гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот, его...

— Да это Мэйлмют Кид! — прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на Севере.

— Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мэйсона? Она родная сестра Заринки.

— Нет, вождь, я не видал ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на Севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мэйсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь, и через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце... Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега, летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак.

Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требуют в совет. Вышвырнув его в снег, Маккензи мельком заметил раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало. Маккензи обернулся к вождю.

— Слушай! — сказал он. — Я хочу взять твою дочь в жены. Смотри: вот табак, вот чай, много чашек сахара, вот теплые одеяла и большие, крепкие платки, а вот настоящее ружье, и к нему много патронов и много пороха.

— Нет, — возразил старик, сiles не поддаваться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним. — Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтоб я отдал тебе Заринку.

— Но ведь ты вождь.

— Да, но юноши наши разгневаны, потому что Волки отнимают у них невест.

— Слушай, Тлинг-Тиннех! Прежде чем эта ночь перейдет в день, Волк погонит своих собак к Восточным Горам и дальше — на далекий Юкон. И Заринка будет прокладывать путь его собакам.

— А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо Волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем.

Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он возвысил голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты оставшаяся бесстрастной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов; Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур.

— Снова я взываю к тебе — слушай, о Тлинг-Тиннех! Волк умирает, сомкнув челюсти, и вме-

сте с ним навсегда уснут десять сильнейших мужчин твоего племени, — а в мужчинах будет нужда, время охоты только начинается, и до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа: не много из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь — и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе: сюда придут мои братья — их много, и они ненасытны, — и дочери Ворона станут рождать детей в жилищах Волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства — твои.

Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе.

— Отдай, о Тлинг-Тиннех!

— Но мой народ скажет «нет»!

— Отдай, и это богатство — твое. А с твоим народом я поговорю потом.

— Пусть будет, как хочет Волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал.

Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении пяти или шести молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра.

— Собирайся! — вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрыгивать собак.

Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку; девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утоптанной площадки, рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. Притом в час, когда можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла.

Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней, полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня, — вся из странных, неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десятком женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда. Наполовину окутанные распущенными черными, как вороново крыло, волосами, женщины медленно раскачивались взад и вперед, и тела их изгибались, покорные неперестанно меняющемуся ритму.

Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше к югу был на исходе девятнадцатый век, истекали последние годы его последнего десятилетия, — а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок Древности. Большие рыжие псы сидели рядом со своими одетыми в звериные шкуры хозяевами или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, не тревожимый происходящим. Белое Безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполнить все; звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору Великого Холода, и Полярные Духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды.

Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, высматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшем обнаженную грудь матери. Было сорок градусов ниже нуля — семьдесят с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И, однако, он, рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия — волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть.

Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковерных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного созидательного начала — Ворону — он противопоставил Волка-Маккензи, заклеив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди — каждый во имя своего тотема. Племя стиксов — дети Джелкса, Ворона, носителя прометеева огня; Маккензи — сын Волка, иными словами — дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу — значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие сло-

ва, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи — ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться к ним в доверие, посланника самого сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал:

— Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами Голода и Мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка, и Джелкс не поможет им. Ибо они забыли его, они дурно поступают, и идут по дурным тропам, и вводят его врагов в свои вигвамы, и сажают у своего очага. И Ворон скорбит о злонравии своих детей. Но, когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О братья! Носитель Огня поведал шаману свою волю, — теперь выслушайте ее вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами ринутся на Волка, и пусть их ненависть не ослабевает! Тогда женщины будут рожать детей, и народ Ворона станет многочисленным и могущественным. И Ворон выведет великие племена их отцов и дедов с Севера, и они будут сражаться с Волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, Ворон!

Услышав эту весть о близком пришествии мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Раздались крики: «Лис! Лис!» Они становились все громче; наконец один из молодых охотников выступил вперед и заговорил:

— Братья! Шаман сказал мудрые слова. Волки отнимают наших женщин, и некому рожать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и дают нам взамен злого духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинг-Тиннеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот, смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам Волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы

сказать Медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинг-Тиннеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны. И всегда они берут себе лучшие куски, а нам, Воронам, достаются жалкие остатки.

— Посмотрите, вот Гукла! — и Лис бесцеремонно указал на одну из женщин; она была хромая. — Ноги ее искривлены, точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее Волки?

— О! О! — вскричали собратья Лиса.

— Вот Мойри, — продолжал он. — Злой дух перекошил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее, и, говорят, сам медведь уступает ей дорогу. Выбрали ее Волки?

И снова грозный гул одобрения.

— А вот сидит Писчет. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Разве Волки хотя бы взглянули на нее? Нет! Им достается отборная добыча, нам — остатки. Братья, больше так быть не должно! Довольно Волкам рыскать у наших костров! Время настало!

Гигантское огненное полотнище северного сияния — пурпурное, зеленое, желтое пламя — затрепетало в небе, охватив его от края до края. И Лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул:

— Смотрите! Духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!

Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищами. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена, точно назло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо: когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силы ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил; голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на берегу океана.

— Я Медведь, Серебряное Копье и сын Серебряного Копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал рысь, лося и оленя; когда он зазвучал, как крик росомахи в ловушке, я пересек Южные Горы и убил троих из племени Белой реки; когда он стал, как рев Чинука, я встретил медведя гризли — и я не уступил ему дороги.

Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице. Потом продолжал:

— Я не Лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красно говорить. Слов у меня немного. Лис говорит: «Великие дела совершатся в эту ночь». Хорошо! Речь его бежит с языка, точно река в половодье, но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с Волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, Медведь, сказал.

Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьверы, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал — если на него нападут все разом, ему не на что надеяться, и, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но Медведь сдержал своих собратьев, отбросил самых пылких назад ударами страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали — совсем тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но как только Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустило. Напряженные мышцы ослабли, она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.

Тлинг-Тиннех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас шарахнулся назад, и пронзительный вопль застрял у него в глотке — с таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение Лиса было встречено взрывами хохота — теперь его соплеменники готовы были слушать.

— Братья! — начал Маккензи. — Белый человек, которого вы называете Волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать, подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово, и время мирных речей прошло. Так слушайте: прежде всего ваш шаман — злой болтун и лживый прорицатель, и

воля, которую он передал вам, — не воля Носителя Огня. Уши его глухи к голосу Ворона, он сам сочиняет коварные небылицы, и он обманул вас. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери; когда ваша земля была окутана тьмою и все живое гибло, точно лосось в осеннюю пору; да, когда голод обрушился на вас, — разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам: шаман бессилен. Вот, я плюю ему в лицо!

Все были поражены этим кощунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались, мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходящего. Жрец понял, что настала решающая минута, почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал: Маккензи занес кулак и шагнул к нему — свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил.

— Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня? Тьфу! Я покончил с этим псом. Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое властвует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку. Потом охотимся стаями и, наконец, как олени стада, заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная, она будет хорошей матерью Волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью Волков, ибо мои братья многочисленны, и они придут по следу моих собак. Слушайте, вот Закон Волка: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях, во многих землях ее еще будут платить.

Теперь я буду говорить с Лисом и с Медведем. Видно, им приглянулась эта девушка. Так? Но смотрите — я купил ее! Тлинг-Тиннех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табак — пять больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтоб он мог всласть шуметь на совете. Медведю же — я горжусь знаком-

ством с ним — я дам два одеяла, двадцать чашек муки, табаку вдвое больше, чем Лису; а если он пойдет со мной к Восточным Горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тиннеха. А если он не хочет? Что ж, хорошо! Волк устал говорить. Но он еще раз повторит вам Закон: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью.

Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было беспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи и наскоро рассказывала, какие хитрости пускает в ход Медведь, когда дерется на ножах, и Маккензи внимательно слушал.

Итак, решено — они будут биться. Миготом десятки мокасин расширили утоптанную площадку вокруг огня. Немало тут было и разговоров о поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман; некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу, другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с Волком. Медведь выступил вперед, в руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккензи, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять: откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием.

— Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!»

Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом, у него и руки были длиннее и нож длиннее на добрых два дюйма. Бирюку Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина; и, однако, он весь ожил при виде сверкнувшей стали, и, послушная зову предков, кровь быстрее побежала в его жилах.

Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Маккензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советовали, предостерегали. Но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, и нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед

инстинктом самосохранения, который, в свою очередь, уступил место жажде убийства. Десять тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи, как шелуха, и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из-за самки.

Дважды он достал Медведя ножом и ускользнул невредимый; но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с Медведем вплотную — каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения... а лезвие русской стали все ближе, ближе... Он попытался оторваться от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее, — никто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть. Но приемом опытного борца Маккензи откатнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на Медведя, отшвырнул его за круг зрителей, в глубокий, неутоптанный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи.

— О муж мой! — зазвенел голос Заринки, предупреждая о близкой опасности.

Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться, — стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь Медведя, и тот тяжело упал, подминая под себя противника. Секунду спустя Маккензи был снова на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу.

Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко взмахнул им. Сверкнув, как молния, нож пролетел над костром. Лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку, он зашатался и рухнул на пылающие уголья.

Клик! Клик! — Лис завладел ружьем Тлинг-Тиннеха и тщетно пытался загнать патрон в ствол, но тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка.

— Так, значит, Лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, Лис пока еще женщина? Поди сюда! Дай ружье, я покажу тебе, что надо делать.

Лис колебался.

— Поди сюда, говорят тебе!

И Лис подошел, неловкий, как побитый щенок.

— Вот так и так — и все в порядке.

Патрон скользнул на место, щелкнул курок, Маккензи вскинул ружье к плечу.

— Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не Лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо!

Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана.

— Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников этого хочет? Если так, Волк отправит их той же дорогой — по двое, по трое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинг-Тиннех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище Волка тебя всегда ждет место у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я уйду, но, возможно, я еще вернусь. И в последний раз говорю: помните Закон Волка!

Он подошел к Заринке, а они смотрели на него, как на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи, в свою очередь, стал на лыжи, готовый двинуться следом.

— Разве Волк забыл про пять больших пачек табаку?

Маккензи гневно обернулся к Лису, но тут же ему стало смешно.

— Я дам тебе одну маленькую пачку.

— Как будет угодно Волку, — скромно сказал Лис и протянул руку.

В далеком краю

Когда человек уезжает в далекие края, он должен быть готов к тому, что ему придется забыть многие из своих прежних привычек и приобрести новые, отвечающие изменившимся условиям жизни. Он должен расстаться со своими прежними идеалами, отречься от прежних богов, а часто и отрешиться от тех правил морали, которыми до сих пор руководствовался в своих поступках. Те, кто наделен особым даром приспособляемости, могут даже находить удовольствие в новизне положения. Но для тех, кто закостенел в привычках, приобретенных с детства, гнет изменившихся условий невыносим, — такие люди страдают душой и телом, не

умея понять требований, которые предъявляет к ним иная среда. Эти страдания порождают дурные наклонности и навлекают на человека всевозможные бедствия. Для того, кто не может войти в новую жизненную колею, лучше сразу вернуться на родину; промедление будет стоить ему жизни.

Человек, распрощавшийся с благами старой цивилизации ради первобытной простоты и суровой юности Севера, может считать, что его шансы на успех обратно пропорциональны количеству и качеству безнадежно укоренившихся в нем привычек. Он вскоре обнаружит, если только вообще способен на это, что материальные жизненные удобства еще не самое важное. Есть грубую и простую пищу вместо изысканных блюд, носить мягкие бесформенные мокасины вместо кожаной обуви, спать на снегу, а не на пуховой постели — ко всему этому в конце концов привыкнуть можно. Но самое трудное — это выработать в себе должное отношение ко всему окружающему, и особенно к своим ближним. Ибо обычную учтивость он должен заменить в себе снисходительностью, терпимостью и готовностью к самопожертвованию. Так и только так он может заслужить драгоценную награду — истинную товарищескую преданность. От него не требуется слов благодарности — он должен доказать ее на деле, воздав добром за добро, короче, заменить видимость сущностью.

Когда весть об арктическом золоте облетела мир и людские сердца неудержимо потянуло к Северу, Картер Уэзерби распрощался со своим насиженным местом в конторе, где он работал клерком, перевел половину сбережений на имя жены, а на оставшиеся деньги купил себе все необходимое для путешествия. В его натуре не было романтики — занятия коммерцией уничтожили в нем все подобные склонности, — ему просто надоело тянуть служебную лямку и захотелось отважиться на риск в надежде на то, что риск себя оправдает. Подобно многим другим глупцам, презревшим старые, испытанные дороги, которыми в течение долгих лет шли пионеры Севера, он в самом начале весны поспешил в Эдмонтон и там, на свое несчастье, примкнул к партии золотоискателей.

Не было ничего необычного в этой партии, за исключением ее планов. Даже конечной целью ее, как и всех подобных партий, был Клондайк. Но маршрут был выбран такой, что мог поставить в тупик даже самого отважного уроженца Северо-Запада, привыкшего к злоключениям.

Даже Жак-Батист — сын индианки из племени чиппева и *voyageur*, издавший свой первый крик в вигваме из оленьих шкур, севернее шестидесятой параллели, и умолкнувший, когда ему сунули в рот кусок сырого сала, даже Жак-Батист был поражен. Хотя он и продал этим людям свои услуги и согласился сопровождать их до вечных льдов, но и он злое ще по-качал головой, когда спросили его совета.

В ту пору, должно быть, как раз восходила и несчастливая звезда Перси Катферта, ибо он также присоединился к этой компании аргонавтов. Это был самый обыкновенный человек, чей счет в банке был столь же солиден, как и его образование, — а это уже немало. Он не имел никаких оснований пускаться в такое предприятие, ровно никаких, за исключением, может быть, того, что он страдал избытком сентиментальности. Он ошибочно принял эту свою черту за страсть к романтическим приключениям. Людям часто случается впасть в подобную ошибку и затем жестоко расплачиваться за нее.

Первые дни весны застали партию на Элкривер, и как только прошел лед, путешественники отправились вниз по течению. Это была целая флотилия — так как поклажи оказалось много, — сопровождаемая пестрой толпой метисов-проводников с женщинами и детьми. Из дня в день люди трудились за веслами, воюя с москитами и прочей назойливой мошкаррой, обливались потом и бранились, когда нужно было перетаскивать лодки волоком. Суровый труд обнажает человеческую душу до самых ее глубин, и, прежде чем партия миновала озеро Атабаска, каждый из членов экспедиции показал свою подлинную натуру.

Картер Уэзерби и Перси Катферт оказались лодырями и неисправимыми нытиками. Каждый из них жаловался на свои болезни и трудности больше, чем все остальные, вместе взятые. Не было случая, чтобы они добровольно взялись хотя бы за какое-нибудь дело. Чуть только являлась необходимость принести ведро воды, нарубить лишнюю охапку дров, перемыть и перетереть посуду или отыскать в гряде вещей какой-нибудь неожиданно понадобившийся предмет, эти два бессильные отпрыска цивилизации немедленно обнаруживали у себя растяжение связок или волдыри на руках, требующие срочного лечения. Они первыми устраивались на ночлег, не закончив порученного им дела, и последними вставали утром, хотя требовалось еще до завтрака приготовить все к отъезду. Они первыми садились за еду и последними

помогали приготовить пищу, первыми вылавливали лучший кусок и последними замечали, что прихватили порцию соседа. Если им приходилось грести, они просто погружали весла в воду, предоставляя трудиться другим, а лодке самой плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи втихомолку проклинали их и начинали ненавидеть, а Жак-Батист открыто насмехался над ними и поносил их с утра до ночи, — правда, Жак-Батист не был джентльменом.

У Большого Невольничьего озера партия закупила собак и до отказа нагроутила лодки запасами вяленой рыбы и пеммикана. Тем не менее быстрое течение Маккензи легко подхватило их и понесло вперед к Великой Бесплодной Земле. По пути они тщательно обследовали каждый мало-мальски обещающий ручеек, но золотой мираж по-прежнему ускользал от них все дальше на север. У Большого Медвежьего озера проводники, поддавшись извечному страху перед неизведанными землями, начали покидать золотоискателей. У Форта Доброй Надежды последние и самые отважные из них взялись за канаты и потащили свои лодки вверх по реке, которой они так недавно еще доверялись. Остался один только Жак-Батист, но разве он не поклялся сопровождать партию до вечных льдов?

Теперь путники постоянно обращались к своим картам, составленным главным образом по наслышке. Они понимали, что надо спешить, так как летнее солнцестояние уже закончилось и снова надвигалась арктическая зима. Огибая берега залива, где Маккензи впадает в Северный Ледовитый океан, они вошли в устье реки Литтл-Пил. Затем начался трудный путь вверх по течению, и оба «никудышника» справлялись с работой еще хуже, чем прежде. Приходилось тянуть лодки канатом, передвигать их с помощью багра и весел, переправлять через пороги и перетаскивать волоком, и эти испытания внушили одному из них глубокое отвращение к рискованным затеям, а другому дали красноречивое доказательство того, что представляет собою обратная сторона романтики. Однажды они взбунтовались и, несмотря на неистовую ругань Жака-Батиста, не тронулись с места. Метис избил обоих до крови и заставил работать. Для каждого из них это были первые побои в жизни.

Оставив свои лодки у истоков Литтл-Пил, путники провели остаток лета, совершая трудный переход через водораздел рек Маккензи и Уэст-Рэт. Последняя — приток реки Поркьюпайн,

которая, в свою очередь, впадает в Юкон там, где этот великий водный путь с Севера пересекает Полярный круг. Но зима опередила их, и однажды их плоты прибило ко льду, после чего они сразу же поспешили выгрузить свои вещи на берег. Ночью на реке образовывались затоны, льдины с треском раскалывались; к утру все оцепенело в мертвом сне.

— Мы, должно быть, не дальше четырехсот миль от Юкона, — заключил Слоупер, отмечая расстояние по карте ногтем большого пальца.

Совещание, на котором оба «никудышника» хныкали и жаловались на неудачу, подходило к концу.

— Когда-то тут был пост Компании Гудзонова залива. Теперь ничего нет, — сказал Жак-Батист, отец которого, состоявший на службе Пушной компании, совершил в давние времена путешествие по этим местам, после чего недо считался двух пальцев на ноге.

— Да он не в своем уме! — раздался голос. — Разве здесь нет белых?

— Ни одного! — решительно заявил Слоупер. — Но когда мы выйдем к Юкону, то до Доусона останется миль пятьсот. Так что всего можно считать около тысячи миль.

Уэзерби и Катферт дружно заохали.

— За сколько же времени мы доберемся. Батист?

Метис на минуту задумался.

— Если все мы будем работать, как черти, и никто не выйдет из игры, то десять, двадцать, сорок, пятьдесят дней. А с этими младенцами, — он кивнул на обоих «никудышников», — даже не знаю. Может быть, когда сам ад замерзнет, а может быть, и никогда.

Люди, чинившие свои лыжи и мокасины, оставили работу. Кто-то окликнул по имени отсутствующего участника похода, и тот, выйдя из старой хижины неподалеку от костра, присоединился к остальным. Эта хижина была одной из многих загадок, таившихся среди необъятных просторов Севера. Кем и когда она была построена, никто не знал. Две могилы у входа, отмеченные высокими грудками камней, хранили, быть может, тайну ранних пришельцев. Но чья рука складывала эти камни?

Решительный момент настал. Жак-Батист перестал прилаживать упряжь и успокоил упрямящуюся собаку. Повар взглядом попросил помедлить и, бросив несколько кусков бекона в бурлящий котелок с бобами, приготовился слушать. Слоупер поднялся на ноги. Его фигура представляла разительный контраст с обо-

ими «никудышниками», сохранявшими вполне здоровый вид. Слабый, с болезненно-желтым лицом, ибо совсем недавно прибыл из Южной Америки, вырвавшись из какой-то дыры, где свирепствовала лихорадка, он, однако, не потерял вкуса к странствиям и все еще был способен работать наравне с остальными. Веса в нем было не больше девяноста фунтов, даже если считать тяжелый охотничий нож; седеющие волосы свидетельствовали о том, что молодость его уже миновала. Сила молодых мускулов Уэзерби или Катферта в десять раз превышала его силу, и все же они не могли за ним угнаться. В течение целого дня он убеждал их решиться на тысячемильный переход, сулящий жесточайшие трудности, которые только может представить себе человек. Он был воплощением неутомимости своей расы, и древнее тевтонское упорство в соединении с сообразительностью и энергией янки поддерживало в нем силу духа.

— Те, кто намерен продолжать путь, как только река окончательно станет, пусть скажут «да».

— Да! — раздалось в ответ восемь голосов. Этим голосам суждено было не раз проклинать судьбу на протяжении многих сотен миль труднейшего пути.

— Кто против, пусть скажет «нет».

— Нет!

Первый раз оба «никудышника» пришли к единодушию, не поступаясь личными интересами каждого.

— Как же вы теперь будете решать? — воинственно спросил Уэзерби.

— Большинством голосов, большинством голосов! — закричали остальные члены партии.

— Я знаю, что экспедиция может потерпеть неудачу, если вы не пойдете с нами, — вкрадчиво сказал Слоупер, — но я думаю, что если мы будем очень стараться, то уж как-нибудь обойдемся без вас. Что скажете, ребята?

В ответ раздался гул одобрения.

— Но послушайте, — нерешительно сказал Катферт, — а мне-то что делать?

— С нами ты идти не собираешься?

— Не-е-т.

— Ну так и делай что хочешь, черт возьми! В конце концов, нас это не касается.

— А ты посоветуйся со своим дружкой, — говорил один уроженец Дакоты, указывая на Уэзерби. — Когда понадобится сварить обед или пойти за дровами, он, наверное, даст тебе хороший совет.

— Тогда будем считать, что все улаже-

но, — заключил Слоупер. — Мы тронемся в путь завтра. Через пять миль сделаем остановку, чтобы окончательно все проверить и посмотреть, не забыли ли чего-нибудь.

Нарты заскрипели на окованных сталью полозьях, и собаки тронулись с места, медленно натягивая упряжь, в которой им суждено жить и умереть. Жак-Батист помедлил минуту возле Слоупера и бросил на хижину прощальный взгляд. Из трубы подымалась чуть заметная струйка дыма — это топилась юконская печь. Оба «никудышника», стоя на пороге, следили за отъезжающими.

Слоупер положил руку на плечо метиса.

— Жак-Батист, слышал ли ты когда-нибудь о котах из Килкении?

Тот отрицательно покачал головой.

— Так вот, дружище, раз в Килкении подрались два кота, да так подрались, что после драки только клочья шерсти остались! Ну так вот. Эти двое не любят работать. Они и не будут работать. Это уж наверняка. Они остаются в этой хижине вдвоем на всю зиму, долгую, черную зиму. Теперь понимаешь, почему я вспомнил про котов из Килкении?

Батист-индеец промолчал. Батист-француз в ответ пожал плечами, и все же это был красноречивый жест, заключающий в себе пророчество.

Первое время в хижине все шло хорошо. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Катферта понять взаимную ответственность; кроме того, для двух здоровых мужчин дела в конце концов было не так уж много. Избавление от грозного метиса, его карающей руки дало благотворные результаты. Вначале каждый из них старался превзойти другого, выполняя всякие мелкие работы с усердием, которому немало подивились бы их товарищи, совершавшие в это время долгий и трудный путь по Великой Северной Тропе.

Все тревоги теперь исчезли. Лес, подступавший к хижине с трех сторон, хранил неиссякаемый запас дров. В нескольких ярдах от дверей хижины спала река Поркьюпайн; достаточно было прорубить отверстие в ее зимнем покрове, чтобы иметь источник кристально чистой ледяной воды. Но вскоре они стали тяготиться даже этой несложной обязанностью, — прорубь постоянно замерзала, и нужно было снова и снова браться за топор. Неизвестные строители хижины сделали позади пристройку для хранения провизии. Здесь находилась большая часть оставленных экспедицией запасов. Пищи было

много, ее хватило бы человек на шесть, но продукты все больше были такие, что годились для поддержания сил и укрепления мышц, но едва ли могли служить лакомством. Правда, сахару было достаточно для двух взрослых мужчин, но эти двое мало чем отличались от детей: они очень скоро обнаружили, как вкусен напиток из горячей воды с сахаром, макали в него сухари и обильно поливали оладьи густым белым сиропом. Огромное количество сахара истреблялось также с кофе, чаем и особенно с сухими фруктами. Сахар и стал причиной первой перебранки. А когда двое людей, вынужденных проводить все свое время вдвоем и только вдвоем, начинают ссориться, — дело плохо.

Уэзерби любил всегда разглагольствовать о политике, тогда как Катферт, всегда предпочитавший спокойно стричь купоны, не вмешиваясь в государственные дела, или вовсе игнорировал подобные разговоры, или раздражался едкими остротами. Но природная тупость мешала клерку оценить блестящую форму, в которую облекалась мысль Катферта, и тот злился, видя, что понапрасну тратит порох: он привык ослеплять слушателей блеском своего красноречия и очень страдал от отсутствия аудитории. Он воспринимал это как личную обиду и в глубине души даже ставил своему товарищу в вину его скудоумие.

Если не считать совместной жизни, у них не было решительно ничего общего, ни одной точки соприкосновения. Уэзерби всю жизнь прослужил в конторе и, помимо конторской работы, ничего не знал и не умел делать. Катферт был магистром искусств, на досуге писал маслом и даже пробовал свои силы в литературе. Один принадлежал к низшим слоям общества, но считал себя джентльменом, а другой был джентльменом и сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что можно быть джентльменом и не обладая элементарным чувством товарищества. Один был грубо-чувственной натурой, другой — эстетом; и бесконечные рассказы клерка о его любовных похождениях, являвшиеся по преимуществу плодом фантазии, действовали на утонченного магистра искусств, как зловоние из сточной канавы. Он считал клерка грязным животным, которому место в хлеву со свиньями, и прямо говорил ему об этом. В ответ Катферту сообщалось, что он «размазня» и «хам». Что в данном случае означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить ни за что на свете, но оно достигало цели, а это в конце концов казалось самым главным.

Отчаянно фальшивя, Уэзерби часами распевал песенки вроде «Бандит из Бостона» или «Юнга-красавчик», так что в конце концов Катферт, который буквально плакал от ярости, не выдерживал больше и выбегал за дверь. Положение становилось безвыходным. Остаться на морозе долго было невозможно, а в маленькой хижине размером десять на двенадцать, вмещавшей две койки и стол, им вдвоем было чересчур тесно. Для каждого из них само присутствие другого было уже личным оскорблением, и время от времени они впадали в угрюмое молчание, которое становилось все более длительным и глубоким, по мере того как шли дни. Во время этих периодов молчания они старались совершенно не замечать друг друга, но иногда не выдерживали и позволяли себе искоса брошенный взгляд или презрительную гримасу. И каждый в глубине души искренне удивлялся тому, как Господь Бог создал другого.

От безделья они не знали, куда девать время, и потому обленились еще больше. Ими овладело какое-то сонное оцепенение, которое они не в силах были с себя стряхнуть; необходимость выполнить самую незначительную работу приводила их в ярость. Однажды утром Уэзерби, зная, что сегодня его очередь готовить завтрак, выбрался из-под одеяла и под храп своего товарища зажег светильник, а затем развел огонь в печке. Вода в котелках замерзла, и нечем было умыться. Но это его не смутило. Ожидая, пока лед в котелках растает, он нарезал ломтями бекон и нехотя принялся замешивать тесто для лепешек. Катферт исподтишка наблюдал за ним краем глаза. Дело кончилось бранью и крупной ссорой: было решено, что отныне каждый готовит завтрак сам для себя. Через неделю утренним омовением пренебрег и Катферт, что не помешало ему с большим аппетитом съесть завтрак, который он сам себе приготовил. Уэзерби только усмехнулся. После этого глупая привычка умываться по утрам была отменена навсегда.

Так как запас сахара и других вкусных вещей быстро истощался, каждый из них стал терзаться опасением, как бы другой не съел больше, и, для того чтобы не быть ограбленным, сам старался поглотить сколько можно. В этом соревновании пострадали не только запасы лакомств, но и те, кто их истреблял. Из-за отсутствия свежих овощей, а также неподвижного образа жизни у них началось худосочие и по телу пошла отвратительная багровая сыпь. Но они упорно не хотели замечать опасности.

Затем появились отеки, суставы стали пухнуть, кожа почернела, а рот и десны приобрели цвет густых сливок. Однако общая беда не сблизила их, напротив, каждый с тайным злорадством наблюдал за появлением зловещих симптомов цинги у другого.

Вскоре они совсем перестали следить за внешностью и забыли самые элементарные приличия. Хижина превратилась в настоящий свинной хлев; они не убирали постелей, не меняли хвойных подстилок и охотнее всего вовсе не вылезали бы из-под своих одеял, но это было невозможно: холод стоял невыносимый, и печка требовала много топлива. Волосы у них висели длинными спутанными прядями, лица заросли бородой, а одеждой погнушался бы даже старьевщик. Но их это не трогало. Они были больны, никто их не видел, и, кроме того, двигаться было слишком мучительно.

Ко всем этим бедам прибавилось новое страдание: страх Севера. Этот страх — неразлучный спутник Великого Холода и Великого Безмолвия, он — порождение мрака черных декабрьских ночей, когда солнце скрывается на юге за горизонтом. Этот страх действовал на них по-разному,сообразно натуре каждого. Уэзерби подпал под власть грубых суеверий. Его непрестанно преследовала мысль о тех, кто спал там, в забытых могилах. Это было какое-то наваждение. Они мерещились ему во сне, приходили из леденящего холода могилы, забирались к нему под одеяло и рассказывали о своей тяжелой жизни и предсмертных муках. Уэзерби содрогался всем телом, отстраняясь от их липких прикосновений, но они прижимались теснее, сковывая его своими ледяными объятиями, и нашептывали ему зловещие предсказания, и тогда хижина оглашалась воплями ужаса. Катферт ничего не понимал — они с Уэзерби давно уже перестали разговаривать — и, разбуженный криками, неизменно хватался за револьвер. Охваченный нервной дрожью, он садился на постели и сидел так, сжимая в руке оружие, наведенное на лежащего в беспамятстве человека. Катферт думал, что Уэзерби сходит с ума, и начинал опасаться за свою жизнь.

Его собственная болезнь выражалась в менее определенной форме. Неведомый строитель хижины укрепил на коньке крыши флюгер. Катферт заметил, что флюгер всегда обращен на юг, и однажды, раздраженный этим упорным постоянством, сам повернул его на восток. Он наблюдал за ним с жадным вниманием, но ни одно дуновение ветра не потревожило флюге-

ра. Тогда он повернул его к северу, поклявшись себе не дотрагиваться до него и ждать, пока не подует ветер. В неподвижности воздуха было что-то сверхъестественное, пугающее; часто Катферт среди ночи вставал посмотреть, не шевельнулся ли флюгер. Если бы он повернулся хотя бы на десять градусов! Но нет, он высился над крышей, неумолимый, как судьба. Постепенно он стал для Катферта олицетворением злого рока. Порой большое воображение уносило Катферта туда, куда указывал флюгер, в какие-то мрачные теснины, и ужас сковывал его. Он пребывал в стране невидимого и неведомого, и душа его, казалось, изнемогала под бременем вечности. Все здесь, на Севере, угнетало его: отсутствие жизни и неподвижность, мрак, бесконечный покой дремлющей земли, жуткое безмолвие, среди которого даже биение сердца казалось святотатством, торжественно вздымающийся лес, будто хранящий какую-то непостижимую, страшную тайну, которой не охватить мыслью и не выразить словом.

Мир, который он так недавно покинул, мир, где волновались народы и вершились важные дела, казался ему чем-то очень далеким. По временам его обступали навязчивые воспоминания о картинных галереях, аукционных залах, широких людных улицах, о фраках, о светских обязанностях, о добрых друзьях и дорогих сердцу женщинах, которых он некогда знал, но эти смутные воспоминания относились к другой жизни, которою он жил много веков назад, на какой-то другой планете. И фантазмагория становилась реальностью, окружавшей его сейчас. Стоя внизу под флюгером и устремив взор на полярное небо, он не мог поверить в то, что существует Юг, что в этот самый момент где-то кипит жизнь. Не было ни Юга, ни людей, которые рождались, жили, вступали в брак. За унылым горизонтом лежали обширные безлюдные пространства, а за ними расстилались другие пространства, еще более необъятные и пустынные. В мире не существовало стран, где светило солнце и благоухали цветы. Все это было лишь древней мечтой о рае. Солнечный Запад, напоенный пряными ароматами Восток, счастливая Аркадия — благословенные острова блаженных! Ха-ха! Смех расколол пустоту, и Катферту стало не по себе от этого непривычного звука. Не было больше солнца. Была вселенная — мертвая, холодная, погруженная во тьму, и он единственный ее обитатель.

Уэзерби? В такие мгновения он в счет не шел. Ведь это был Калибан, чудовищный призрак,

прикованный к нему, к Катферту, на долгие века, кара за какое-то забытое преступление!

Он жил рядом со смертью и среди теней, подавленный сознанием собственного ничтожества, поработанный слепой властью дремлющих веков. Величие окружающего страшило его. Оно было во всем, кроме него самого: в полном отсутствии ветра и движения, в необъятности снеговой пустыни, в высоте неба и в глубине безмолвия. А этот флюгер — о, если бы он только хоть чуть-чуть шевельнулся! Пусть бы грянули все громы небесные или пламя охватило лес! Пусть бы небеса разверзлись и наступил день страшного суда! Пусть бы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь совершилось! Нет, ничего... Никакого движения. Безмолвие наполняло мир, и страх Севера ледяными пальцами сжимал ему сердце.

Однажды Катферт, точно новый Робинзон, заметил у самой реки след — слабый отпечаток заячьих лапок на свежевывавшем снегу. Это было для него откровением: значит, на Севере существует жизнь! Он пошел по следу, жадно вглядываясь в него. Забыв о своих распухших ногах, он пробирался сквозь снежные сугробы в волнении, порожденном каким-то нелепым предчувствием. Короткие сумерки погасли, и лес поглотил его, но он упорно продолжал идти все вперед и вперед, пока не иссякли последние силы и он в изнеможении не повалился в снег. И тогда, застонав, он проклял свое безрассудство, ибо понял, что след этот был плодом его воображения.

Поздним вечером он дотащился до хижинки на четвереньках; щеки у него были отморожены, и ноги как-то странно онемели. Уэзерби злобно усмехнулся, но не предложил помочь. Катферт колол иголками пальцы на ногах и отогревал их у печки. Через неделю у него началась гангрена.

У клерка были свои заботы. Мертвецы все чаще выходили из могил и теперь уже почти не расставались с ним. Он со страхом ждал их появления, и дрожь пробирала его каждый раз, когда он проходил мимо заваленных камнями могил. Однажды ночью они пришли к нему, когда он спал, увлекли его за собой и заставили делать какую-то работу. В невыразимом ужасе проснулся он среди груды камней и, как безумный, бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал там некоторое время, так как и у него оказались отмороженными ноги и щеки.

Иногда эта навязчивость мертвецов доводила его до бешенства, и он метался по хижине,

размахивая топором и сокрушая все, что попадалось под руку. Во время этих сражений с призраками Катферт забивался под одеяла и следил за безумцем с револьвером в руке, готовый спустить курок, если тот подойдет слишком близко. Придя в себя после одного из таких припадков, клерк заметил наведенное на него дуло револьвера. В нем проснулись подозрения, и с этих пор он также пребывал в вечном страхе за свою жизнь. Они настороженно следили друг за другом, и каждый в тревоге оглядывался, если другому случалось проходить у него за спиной. Эти опасения превратились в манию, от которой они не могли избавиться даже во сне. Взаимный страх побуждал их, не сговариваясь, оставлять на ночь огонь в светильнике, с вечера заботливо заправив его жиром. Достаточно было одному пошевелиться, чтобы проснулся другой; их настороженные взгляды встречались, и оба дрожали от страха под своими одеялами, держа палец на взведенном курке.

Страх Севера, нервное напряжение и разрушительная болезнь привели к тому, что они потеряли всякий человеческий облик и стали похожи на затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели, пальцы на ногах начали отваливаться сустав за суставом. Каждое движение причиняло боль, но печь была ненасытна и обрекала на муки их истерзанные тела. Изо дня в день она, как Шейлок, требовала свой фунт мяса, и они через силу тащились в лес, чтобы кое-как нарубить дров. Однажды, отправившись в лес за сухим валежником, они неожиданно столкнулись в чаще. Два трупа вдруг оказались лицом к лицу. Страдания так изменили обоих, что они не узнали друг друга. С криком ужаса они вскочили и заковыляли прочь на своих искалеченных ногах, а потом, свалившись у дверей хижины, грызлись и царапались, как дикие звери, пока не обнаружили своей ошибки.

Но бывали дни, когда они приходили в себя. Во время одного из таких просветлений они поделили поровну сахар — главный предмет их ссор. Они хранили свои запасы в разных мешочках и ревниво оберегали их. Сахару оставалось всего несколько пригоршней, а они совсем перестали доверять друг другу. И вот однажды Катферт ошибся. Еле двигаясь, ослабевший от мучительной боли, он пополз в чулан с жестяной в руке; голова его кружилась, глаза почти не видели, и он по ошибке принял мешочек Узэрби за свой.

Это случилось в начале января. Солнце уже

совершило половину своего зимнего пути и в полдень отбрасывало на северное небо косые полосы неверного желтоватого света. На следующий день после того, как произошла ошибка с сахаром, Катферт почувствовал себя лучше, бодрее телом и душой. К полудню, когда стало светлеть, он с трудом выбрался наружу, чтобы полюбоваться бледным сиянием, которое предвещало возвращение солнца. Узэрби также почувствовал себя несколько лучше и выполз из хижины вслед за ним. Они уселись в снегу под неподвижным флюгером и стали ждать.

Вокруг царило безмолвие смерти. Когда природа так замирает где-нибудь в другом краю, ее неподвижность таит в себе сдержанное ожидание: кажется, вот-вот какой-то слабый звук нарушит напряженную тишину. Не то на Севере. Эти двое как будто вечно жили среди жуткого молчания. Они не могли припомнить ни одной мелодии прошлого, не могли представить мелодий будущего. Сверхъестественная тишина существовала всегда. Это было спокойствие вечности.

Не отрывая глаз, они смотрели на север. Позади, за вздымающимся на юге горным хребтом, медленно двигалось невидимое солнце к зениту чужих небес. Единственные свидетели величественного зрелища, они наблюдали за тем, как постепенно разгоралась в небе ложная заря. Бледное зарево становилось все ярче, меняя оттенки, переходя из оранжевого в пурпурный, а затем в шафранный цвет. Наконец, свет на небе стал настолько ярким, что Катферт подумал: «Вот сейчас совершится чудо, и солнце взойдет с севера!»

Внезапно, без всяких предвестий и переходов, картина резко изменилась. Краски исчезли с небосвода, свет погас. Они затаили дыхание, готовые разрыдаться. Но что это? Воздух наполнился искрящейся морозной пылью, и на снегу, протянувшись к северу, обозначились слабые очертания флюгера. Тень! Тень! Настал полдень. Они быстро повернули головы к югу. Над снежной грядой гор появился краешек золотого диска, озарил их улыбкой на мгновение и снова исчез из вида.

Они взглянули друг на друга, и на глазах у них выступили слезы. Какое-то умиротворение снизошло на них. Они почувствовали неодолимое влечение друг к другу. Значит, солнце возвращается! Оно придет к ним завтра, и послезавтра, и во все последующие дни. И с каждым разом оно будет оставаться на небе все дольше, пока не настанет время, когда оно будет светить

и днем и ночью и больше не исчезнет за горизонтом. Не станет больше ночи. Уйдет закопанная в льды зима. Подуют ветры, и леса ответят им своим шумом. Землю омоет благословенный солнечный свет, и возродится жизнь. Они страхнут с себя этот кошмарный сон и вместе, рука об руку, вернуться домой, на Юг. Бессознательно оба потянулись вперед, и руки их встретились — бедные, искалеченные руки!

Но надежде не суждено было осуществиться. Север есть Север, и человеческие сердца подчиняются здесь законам, которых люди, не путешествовавшие в далеких краях, никогда не смогут понять.

Час спустя Катферт поставил в печь сковородку с лепешками и начал раздумывать над тем, смогут ли врачи вылечить его ноги, когда он вернется домой. Дом не казался теперь таким недостижимым. Уэзерби рылся в кладовке. Вдруг оттуда донесся взрыв проклятий и так же внезапно утих. Клерк обнаружил, что у него украли сахар... И все же дело могло кончиться иначе, если бы как раз в эту минуту мертвецы не вышли из своих каменных могил и не забили ему брань обратно в глотку. Затем они тихонько вывели его из кладовой, которую он забыл закрыть. Конец драмы приближался: должно было свершиться то, о чем они нашептывали ему во сне. Призраки тихо, совсем тихо подвели его к куче дров и вложили в руки топор, затем помогли ему открыть дверь и — он был уверен в этом — сами заперли ее за ним, по крайней мере он слышал, как щелкнула задвижка. И он знал, что они за дверью, что они ждут, когда он сделает свое дело.

— Картер! Послушайте, Картер!

При взгляде на лицо клерка Перси Катферту стало не по себе, и он поспешил загородиться столом.

Картер Уэзерби подвигался вперед неторопливо и как бы неохотно; лицо его не выражало ни жалости, ни волнения. В нем была тупая сосредоточенность человека, который должен сделать определенную работу и выполняет ее методически.

— Что с вами, Картер?

Клерк отступил на шаг, отрезая Катферту путь к двери, но не проронил ни слова.

— Послушайте, Картер, давайте же поговорим. Будьте благоразумны...

Магистр искусств с лихорадочной быстротой обдумывал положение. Ловким обходным движением он достиг койки, где у него лежал смит-и-вессон. Затем, не отрывая глаз от сума-

спешного, выхватил из-под подушки револьвер.

— Картер!

Вспышка огня ударила ему в лицо, но Уэзерби взмахнул своим оружием и бросился вперед. Топор глубоко вонзился в спину Катферта, и он сразу же перестал ощущать свои ноги. Затем клерк навалился на него, слабеющими пальцами сжимая ему горло. От удара Катферт выронил револьвер; задышавшись и пытаясь высвободиться, он беспомощно шарил по одеялу в поисках оружия. И тут он вспомнил. Его рука скользнула к поясу клерка, где висел охотничий нож, и противники сплелись в последнем тесном объятии.

Перси Катферт чувствовал, как силы покидают его. Нижняя часть его тела словно онемела. Тело Уэзерби давило на него своей тяжестью, он был пригвожден к месту, как медведь, попавший в капкан. Хижина наполнялась знакомым запахом: горели лепешки. Но не все ли равно? Они больше не понадобятся ему. А в кладовке осталось еще шесть полных чашек сахара, — если бы он знал все это раньше, не надо было бы так экономить в последние дни...

Повернется ли когда-нибудь флюгер? Может быть, он шевельнулся именно в этот миг? Очень возможно! Ведь показалось же сегодня солнце! Вот сейчас он пойдет и посмотрит. Нет, двинуться невозможно. Он не думал, что Уэзерби такой тяжелый.

Как быстро остывает хижина! Огонь, должно быть, потух. Холод все усиливается. Сейчас, наверное, уже ниже нуля, и дверь изнутри постепенно покрывается белым. Он этого не видит, но знает, потому что чувствует, как падает температура. Нижняя петля, вероятно, уже совсем обледенела. Узнают ли люди о том, что здесь произошло? Как отнесутся к этому его друзья? Вероятнее всего, прочтут заметку в газете за стаканом кофе и будут обсуждать ее потом где-нибудь в клубе. Он как будто слышал. «Бедняга Катферт, — говорили они. — Неплохой был, в сущности, малый». Катферт усмехнулся этой похвале и отправился на поиски турецкой бани. На улицах кишит все та же толпа. Странно, что никто не замечает его мокасины из лосевой кожи и рваные шерстяные носки. Лучше, пожалуй, взять кеб. А после бани не худо было бы побриться. Нет, прежде он поест. Бифштекс, картофель и зелень — какое все свежее! А это что? Мед в сотах, прозрачный и благоухающий мед. Но зачем же так много? Ха-ха! Ему столько никогда не съесть... Почистить? Да, конеч-

но. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик сапог смотрит на него с удивлением, и он вспоминает о своих лосевых мокалинах и поспешно уходит.

Чу! Наверно, повернулся флюгер. Нет, это просто звенит в ушах. Звенит в ушах, только и всего. Лед, должен быть, поднялся до самой задвижки. Может быть, уже и верхняя петля обледенела. Между потолочными балками, в щелях, законопаченных мхом, начали появляться небольшие пятна изморози. Как медленно они растут! Нет! Не так уж медленно — вон еще одно появилось, а вон там еще. Два... три... четыре... Они появляются теперь так быстро, что не считаешь. Вон там два сползли вместе, и к ним присоединилось третье. Теперь уже нет больше отдельных пятен, они все слились, затянув потолок сплошной пеленой.

Что ж! Он будет не один. Если когда-нибудь трубный глас нарушит безмолвие Севера, они вместе, рука об руку, предстанут перед престолом вечного судии... И Бог их рассудит! Бог их рассудит...

Перси Катферт закрыл глаза и погрузился в последний сон.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарли достиг недостижимого. Индейцев, которые не хуже его владели бы мудростью тропы, еще можно было встретить, но только один Ситка Чарли постиг мудрость белого человека, его закон, его кодекс походной чести. Все это ему далось, однако, не сразу. Ум индейца не склонен к обобщениям, и нужно, чтобы накопилось много фактов и чтобы факты эти часто повторялись, прежде чем он поймет их во всем их значении. Ситка Чарли с самого детства толкался среди белых. Когда же он возмужал, он решил совсем уйти от своих братьев по крови и навсегда связал свою судьбу с белыми. Но и тут, несмотря на все свое уважение, можно сказать, преклонение перед могуществом белых, над которым Ситка Чарли без конца размышлял, он долго еще не мог уяснить себе скрытую сущность этого могущества — закон и честь, и только многолетний опыт помог ему окончательно разобраться в этом. Поняв же закон белых, он, человек другой расы, усвоил его лучше любого белого человека. Так он, индеец, достиг недостижимого.

Все это породило в нем некоторое презрение к собственному народу. Обычно он старался скрывать это презрение, но сейчас оно прояви-

лось в многоязычном каскаде проклятий, обрушившемся на головы Ка-Чукте и Гоухи. Они стояли перед ним, точно две собаки, которым трусость мешает напасть, между тем как волчья сущность не позволяет спрятать клыки. Вид у обоих, да и у Ситки Чарли, тоже был такой, что краше в гроб кладут: кожа да кости, на скулах омерзительные струпы от жестоких морозов, местами потрескавшиеся, местами затянувшиеся, в глазах злобный огонь, порожденный голодом и отчаянием. Когда люди дошли до такого состояния, им нет дела до закона и чести; таким людям доверять нельзя. Ситка Чарли это знал, потому-то десять дней назад, когда было решено оставить кое-что из походного снаряжения, он и заставил их побросать ружья. Теперь во всем отряде оставалось всего лишь два ружья: одно у самого Ситки Чарли, другое у капитана Эппингуэлла.

— А ну-ка, разведите костер, живо! — командовал Ситка Чарли, доставая драгоценную спичечную коробку и бересту.

Индейцы мрачно принялись собирать сухие сучья и валежник. Они были очень слабы, устраивали частые передышки и, наклоняясь за сучьями, с трудом удерживались на ногах; их колени дрожали и стукались одно о другое, как кастаньеты. Каждый раз, доковыляв до костра, они останавливались, чтобы перевести дух, как тяжело больные или смертельно усталые люди. Взгляд их то тускнел, выражая тупое, терпеливое страдание, то загорался иступленной жаждой жизни, которая, казалось, вот-вот прорвется неистовым воплем, лейтмотивом всего сущего: «Я хочу жить! Я, я, я!»

Внезапно поднявшийся с юга ветерок больно щипал лицо и руки, а раскаленные иглы мороза проникали до самых костей, впиваясь в тело сквозь меховую одежду. Поэтому, когда костер разгорелся как следует и снег кругом него начал подтаивать, Ситка Чарли заставил своих товарищей помочь ему в устройстве защитного полога. Это было весьма примитивное сооружение, попросту говоря, обыкновенное одеяло, которое натянули с подветренной стороны костра примерно под углом в сорок градусов к земле. Полог этот все же защищал от пронизывающего ветра и отражал тепло, направляя его на сидящих вокруг костра. Затем, чтоб не сидеть прямо на снегу, индейцы набросали еловых ветвей. Выполнив эту работу, они занялись своими ногами. Заледеневшие мокасины сильно истрепались в пути, острый лед речных затворов превратил их в лохмотья. Меховые носки были в

таком же состоянии; когда же они оттаяли настолько, что их можно было стащить, обнажились мертвенно-бледные пальцы ног в разных стадиях обмороженности; они красноречиво поведали несложную историю похода.

Оставив Ка-Чукте и Гоухи сушить у костра обувь, Ситка Чарли повернул лыжи и пошел обратно по тропе. Он и сам был бы рад посидеть у костра и дать отдых своему измученному телу, но это было бы противно закону и чести. Он шагал по замерзшей равнине, в каждом шаге был словно вопль протеста, в каждом мускуле — призыв к бунту. Его нога то и дело ступала на хрупкий лед, только что затянувшейся промоины, и тогда нужно было не мешкая перепрыгнуть на другую льдину. Смерть в таких местах бывает мгновенной и легкой; но Ситка Чарли не желал умирать.

Тревога, которая постепенно нарастала в нем, рассеялась, как только из-за поворота реки показались ковыляющие фигуры двух индейцев. Они с трудом волочили ноги и тяжело дышали, точно несли непосильную ношу, хотя в их заплечных мешках было всего несколько фунтов клади. Ситка Чарли набросился на индейцев с расспросами, и, видимо, их ответы успокоили его. Он поспешил дальше. Навстречу шли трое белых — двое мужчин вели под руки женщину. Они тоже брели, как пьяные, от усталости у них тряслись руки и ноги. Однако женщина старалась не слишком опираться на своих спутников и двигаться без их помощи. На лице Ситки Чарли мелькнула радость, когда он увидел ее. Миссис Эппингуэлл вызывала у него чувство глубокой симпатии и уважения. На своем веку он перевидал много белых женщин, но никогда еще ему не приходилось идти с какой-нибудь из них по снежной тропе. Когда капитан Эппингуэлл впервые заговорил с ним об этом рискованном предприятии, предложив ему принять участие в походе, индеец хмуро покачал головой. Он знал, что прокладывать новый путь через унылые просторы Северной Страны было делом, которое даже от мужчин требовало предельного напряжения сил. Услышав же, что их собирается сопровождать жена капитана, он решительно отказался от какого бы то ни было участия в этом предприятии. Добро бы это была индианка, но женщина из Южной Страны... нет, нет, все они неженки и белоручки, и такой поход им не под силу.

Но Ситка Чарли не знал, с кем он имеет дело. Еще пять минут назад он и в мыслях не имел согласиться. Но вот подошла она; ее чудесная

улыбка околдовала его, ее четкая английская речь поразила его слух; она поговорила с ним по-деловому, не прибегая ни к просьбам, ни к уговорам, и Ситка Чарли тут же сдался. Если бы он прочел в ее глазах мольбу или вкрадчивость, если бы уловил в ее голосе малейшую дрожь, если бы почувствовал, что она рассчитывает на свое женское обаяние, Ситка Чарли оказался бы тверже стали, — но ее ясный, пылкий взгляд, ее звонкий, решительный голос, ее полнейшая искренность и манера держаться с ним просто, как с равным, вскружили ему голову совершенно. Он почувствовал, что перед ним женщина особой породы, и уже в первые дни пути понял, отчего мужчины, родившиеся от подобных женщин, сделались повелителями морей и суши и отчего мужчины, рожденные женщинами его племени, не могли против них устоять. Неженка и белоручка — это она-то! И изо дня в день наблюдал он ее, усталую, измученную и все же не сдающуюся, и повторял в уме эти слова: «Неженка и белоручка». Он смотрел, как с утра до ночи, не зная усталости, мелькают перед ним ее ноги, которым бы ходить по утоптаным дорожкам в солнечных краях, не ведая ни ноющей боли от мокасин, ни ледяных поцелуев мороза; смотрел — и не мог надивиться. Она дарила всех своей приветливой улыбкой, для самого последнего носильщика находила словечко одобрения. Надвигалась полярная ночь, но упорство и решимость этой женщины, казалось, только возрастали с наступающей темнотой. Когда Гоухи и Ка-Чукте, которые хвастали, что знают дорогу, как собственный вигвам, признались в конце концов, что сбились с пути, среди проклятий, обрушившихся на них, один голос, голос женщины, поднялся в их защиту. В ту ночь она пела своим спутникам, и от ее песни позабылась усталость и вселилась новая надежда в их сердца. Когда съестные припасы стали подходить к концу и каждый крохотный кусок был на учете, она восстала против ухищрений своего мужа и Ситки Чарли, требуя, чтобы ей выделяли ровно столько же, сколько остальным, — ни больше ни меньше.

Ситка Чарли гордился дружбой этой женщины. С ее появлением жизнь его стала богаче, он обрел новые горизонты. Сам себе наставник, он привык идти своим путем, ни на кого не оглядываясь. Он воспитал себя, опираясь на правила, которые сам же и выработал, не прислушиваясь ни к чьим мнениям, кроме собственного. И вот впервые появилась какая-то сила извне

и вызвала к жизни все лучшее, что в нем таилось. Взгляд одобрения этих ясных глаз, слова благодарности, произнесенные этим звонким голосом, неуловимое движение губ, складывающихся в эту изумительную улыбку, — и Ситка Чарли в течение долгих часов пребывал на седьмом небе. Она вдохновляла его, поднимала в его собственных глазах; он научился гордиться тем, что так глубоко усвоил мудрость тропы. Он и миссис Эппингуэлл вдвоем поддерживали дух у приунывших товарищей.

Лица всех троих прояснились при виде Ситки Чарли — ведь он был их единственной опорой в пути. Как всегда, невозмутимый, привыкший скрывать под железной маской безразличия равно и радость и боль, Ситка Чарли осведомился об остальных членах отряда, сообщил, сколько осталось идти до костра, и продолжал свой путь. Вскоре ему попался навстречу индеец; он шел, прихрамывая, один и без поклажи; губы его были плотно сжаты, в глазах застыла боль: в его ноге в последней схватке со смертью еще пульсировала жизнь. Все, что можно было для него сделать, было сделано, но в конечном счете слабый и неудачливый гибнет. Ситка Чарли видел, что дни индейца сочтены. Долго он все равно протянуть не мог, и Ситка Чарли, бросив на ходу несколько суровых слов утешения, пошел дальше. После этого ему повстречались еще два индейца — те, которым Ситка Чарли поручил вести Джо, четвертого белого человека в их отряде. Но они бросили его. Ситке Чарли было достаточно одного взгляда, чтобы понять по какой-то неуловимой свободе движений, что индейцы вышли из повиновения. И поэтому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказ вернуться за белым в руках у индейцев сверкнули охотничьи ножи. Какое убогое зрелище — три слабых человеческих существа меряются своими слабыми силами среди просторов могучей природы! Двое были вынуждены оступить под ударами, которые наносил им третий прикладом ружья. Индейцы, как побитые собаки, поплелись обратно. А через два часа все они — Джо, поддерживаемый с двух сторон индейцами, и Ситка Чарли, замыкающий шествие, — подошли к костру, где остальные члены отряда жались к огню под защитой полога.

Когда были проглочены скудные порции пресных лепешек, Ситка Чарли сказал:

— Несколько слов, друзья мои, прежде чем лечь спать. — Он обратился к индейцам на их родном языке, так как уже сообщил белым со-

держание своей речи. — Несколько слов, друзья мои, для вашей же пользы, — может быть, они помогут вам сохранить вашу жизнь. Я дам вам закон, и тот, кто нарушит его, будет сам виновен в своей смерти. Мы перешли Горы Молчания и сейчас идем по верховьям реки Стюарт. Может быть, нам остался всего лишь один сон в пути, может быть, два-три или даже много снов, но так или иначе мы дойдем до людей с Юкона, у которых много еды. Так вот, мы должны соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукте и Гоухи, которым я приказал прокладывать лыжню, забыли о том, что они мужчины, и убежали, как малые дети. Ну что ж, они забыли, забудем и мы на этот раз! Но отныне пусть они не забывают. Если же они снова забудут... — Тут он с нарочитой небрежностью погладил ствол ружья. — Завтра они понесут муку, и поведут белого человека Джо, и будут следить за тем, чтоб он не остался лежать на тропе. Я вымерил, сколько здесь чашек муки; если к вечеру пропадет хотя бы унция... Понятно? Кое-кто еще не забыл сегодня: Оленья Голова и Три Лосося оставили белого человека Джо одного на снегу. Пусть и они не забывают больше. Как только забрезжит день, они отправятся вперед прокладывать лыжню. Вы слышали закон — смотрите же, не нарушайте его.

Как ни старался Ситка Чарли, ему не удавалось заставить свой отряд идти след в след. От Оленьей Головы и Трех Лососей, которые шли в авангарде, прокладывая лыжню, до замыкающих шествие Ка-Чукте, Гоухи и Джо он растянулся чуть не на милю. Каждый брел, падал, чтобы перевести дух, и снова вставал. Они подвигались вперед, напрягая остатки сил, то и дело останавливаясь, и всякий раз, когда они думали, что окончательно выдохлись, оказывалось, что каким-то чудом они все-таки могут еще идти, что силы их не совсем еще иссякли. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать, и, однако, он вставал, и падал снова, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже не шел, а полз на четвереньках. Он полз, почти не останавливаясь, ибо знал цену, которую мороз взыщет с него за передышку. Даже у миссис Эппингуэлл улыбка словно застыла на губах, и она смотрела вперед невидящим взглядом. Она часто останавливалась, прижимала к груди руку в меховой рукавице: не хватало дыхания и кружилась голова.

(Продолжение смотрите на странице 41.)

Журнал в журнале 2 / 2026

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА



Хочу сказать

**ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
«ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЫ»!**

Мы рады получать от вас послания, в которых вы пишете обо всем, что вас волнует, радует, вдохновляет!

Вы пишете о проблемах в школе и семье, о взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями, о любимой музыке и своих хобби... Страницы «Путеводки» всегда открыты для умных размышлений, поиска, желания сделать жизнь интересней и лучше.

Ждем ваших писем по адресу: pzv@detfond.org

быстрые птицы, в полете они ловят много насекомых и от них большая польза природе.

**Александра ЗУБРИКОВА,
9 лет, Саратовская область**

Дружба лечит

У нас в классе появился новый ученик – Коля. Вместе с нами он проучился всего две недели, а потом заболел. Да так тяжело, что его положили в больницу. Учительница сказала, что у Коли гайморит с осложнениями. Мы ему, конечно, посочувствовали. Ну как все неудачно получилось! Сколько у Коли переживаний! И школа новая – попробуй-ка привыкнуть к новым учителям и одноклассникам! И болезнь противная – от гайморита не только нос, но и голова болит! Да еще несколько дней оставалось до Нового года...

И мы решили Колю навестить в больницу. Каждый из нашего класса написал ему письмо и сделал рисунок. Родительский комитет купил мандарины, сладости и большого карбонада. Мы все это сложили в пакет и отправились в больницу. Нашу передачу взяла медсестра и отнесла Коле. А мы все выстроились перед окнами его палаты и громко стали кричать: «Коля!» Он выглянул. И мы замахали ему руками и стали кричать разные пожелания. Коля улыбался. А потом сложил руки так, что получилось большое сердце. И мы поняли – у нас появился очень хороший человек в клас-

Захар и Макар

Однажды мы с мамой вышли из магазина и увидели в траве бездомную кошку. Мама решила покормить ее, нагнулась и увидела в траве маленького стриженка. Мы принесли его домой и посадили в картонную коробку. Папа купил для него в зоомагазине специальных белых червячков. Они противные на вид, но мама их не боялась: надевала перчатки и засовывала червячков птенцу в клювик. Мы называли его Захаром.

На другой день птенчика осмотрели волонтеры. Нам сказали, что у него очень маленький вес и его надо откормить – только тогда он сможет летать. У волонтеров мы познакомились с молодым человеком по имени Макар. Он тоже принес стриженка. Макар сказал, что ему надо уезжать учиться

в другой город, а стриженка не на кого оставить. И он стал просить маму, чтобы она взяла его к себе. И так у нас появился еще один птенец – Макар!

Мама делала все, как научили ее волонтеры. Перед каждым кормлением она надевала перчатки, обрызгивала их специальной жидкостью против микробов, стриженка заворачивала в салфетку и давала корм. Так надо, было делать, чтобы птенчики не подхватили человеческие микробы.

Наступило 1 сентября. Наши стриженята подросли. В воскресенье мы опять все вместе поехали к волонтерам. Они осмотрели и взвесили Захара и Макара и сказали, что их можно выпустить.

...17 сентября было тепло и светило солнышко. Мама сняла на телефон, как папа выпускал Макара и Захара. Как они быстро полетели! Стрижи самые

се. А Колю скоро выписали из больницы – он выздоровел от нашей дружбы.

Стас АРУТЮНЯН, 12 лет,
Омская область

Похоже? Не похоже? Страшно!

Мы с мамой ходили на фильм «Волшебник Изумрудного города», созданный по одноименной книге. Фильм мне не очень понравился, потому что он страшный, а книжка – нет. В киноленте был мост, с которого все падали, мне это было очень страшно.

О персонажах: они такие же, как в книге. Дровосек раньше был человеком, но постепенно стал полностью железным. У него даже сердце стало железное, а он хотел настоящее! Лев – совершенно не страшный, наоборот, он сам всего боялся. И хотел добыть себе храбрость. Страшила – это пугало. Он думал, что у него нет мозгов, и хотел их достать. На самом деле он и так был мудрый. Еще в фильме есть Тотошка – это собачка Элли, он очень хочет вместе с ней попасть домой. Кстати, об Элли: у нее такой же телефон, как у меня!

В общем, на книгу и похоже, и не похоже. Но сравнивать интересно!

Маша МИССА, 8 лет,
г. Москва

Эй, на колокольне!

«Черта на колокольне» Эдгара Аллана По я прочитала за полторы перемены! Это небольшая сатирическая повесть. Действие происходит в «прекраснейшем месте в мире» – городке Школькофремен, где очень

любят точное время и кислую капусту. Город находится в долине, со всех сторон окруженной холмами, за которые жители не хотят выходить, потому что верят, что ничего хорошего оттуда ждать не стоит. Ну и в целом правильно они думали.

Однажды, когда до полудня оставалось совсем немного, из-за этих самых холмов прискакал маленький неопознанный субъект, странно выглядевший и непривычно одетый. «Черт» двигался очень стремительно, он быстро забрался на колокольню, отколошматил зрителя и сотворил с главными часами что-то такое, из-за чего они стали бить в полдень тринадцать раз. С тех пор «Черт» там и живет...

Главный руководитель «вокально-инструментального ансамбля» Avantasia Т. Заммет написал, видимо, по мотивам повести одноименную песню – «Devil in the Belfry». Кроме названия она мало чем напоминает произведение. Тем не менее подозрение в связи песни и повести возникает, потому что переключка с творчеством По у Avantasia наблюдалась неоднократно.

«Черта на колокольне» я прочитала по собственной воле и не разочаровалась. Советую к прочтению всем.

Милена ЕРОШИНА,
12 лет, г. Москва

Мюзикл пошел не так

Я побывала на очень душевном и смешном мюзикле «Мамма мимо, или Мюзикл пошел не так». Все начинается с того, что выбегает девушка в яркой одежде, с лучезарной улыбкой и с телефоном последней марки. Эта девушка – блогер, и она снимает

влог про постановку мюзикла "Mamma Mia".

А с чего вообще этот мюзикл решили ставить?

Дело в том, что директор камвольно-суконной фабрики из небольшого городка решил сделать сюрприз своей жене. Сюрпризом и был мюзикл. Директор заплатил немалую сумму приятелю-продюсеру, а тот позвал знакомого режиссера из народного театра «Отверженные».

И вот уже артисты берутся за дело... Но вдруг возникают обстоятельства непреодолимой силы. И с каждым часом их становится все больше и больше. Заказчик все время вносит новые пожелания, из-за которых приходится менять текст и музыку.

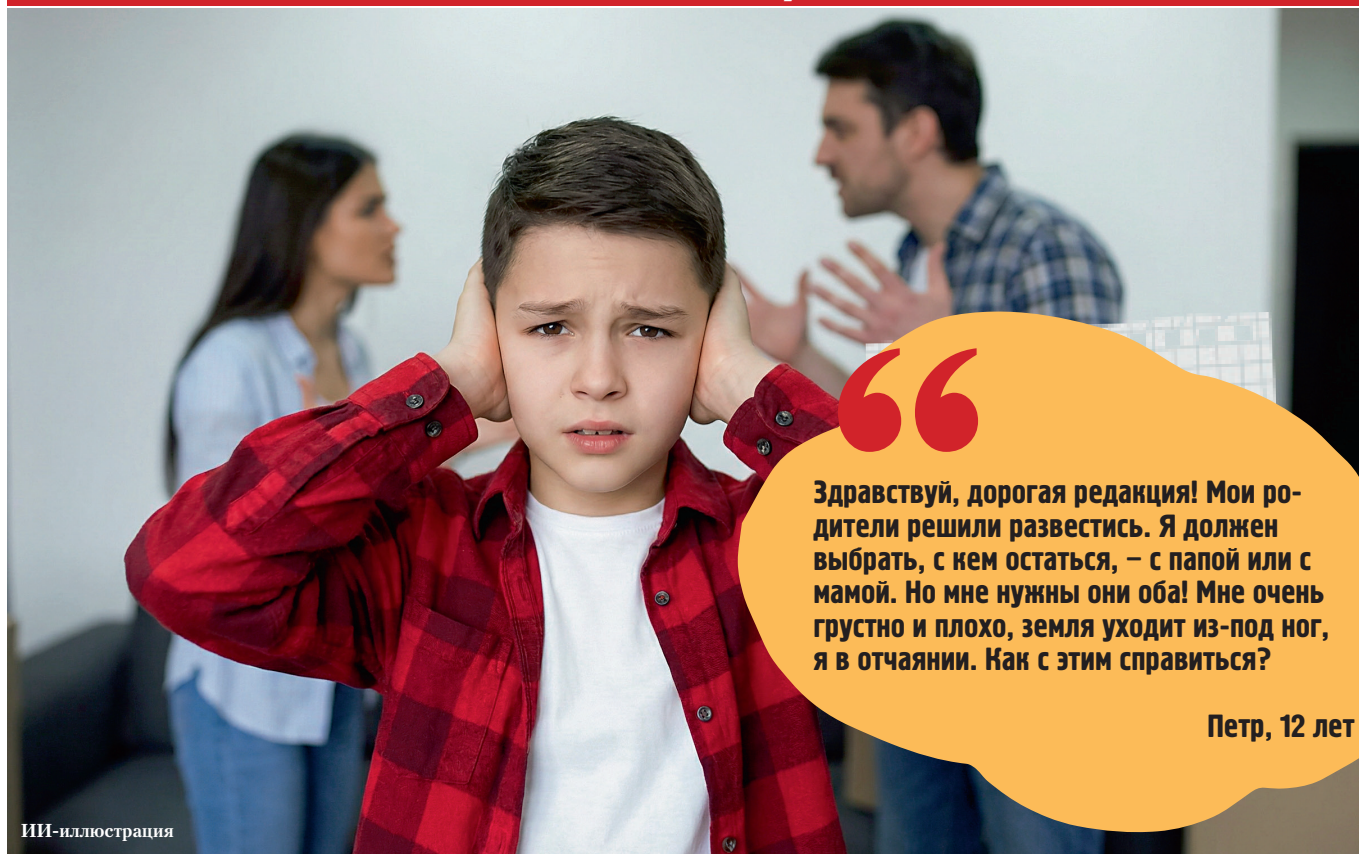
В день премьеры режиссеру дают практически невозможную для выполнения задачу: добавить в шоу новые номера, на ходу переписывая музыку и слова, переделывая сцены, и попутно не разругаться со всей труппой...

Как вам такое изменение: одной из актрис труппы внезапно становится та самая девушка-блогер? Если вы думаете, что это не такое уж важное изменение, добавлю: ее ставят на главную роль...

На протяжении всего спектакля каждый персонаж открывается нам с разных сторон. Есть моменты, где смеешься от души, а есть моменты, где искренне радуешься за персонажа или, наоборот, тебе его жаль.

Очень интересные песни, очень хорошие актеры. А главное – постоянное действие. Я за весь спектакль ни на секунду не отвлеклась! В общем – незабываемые эмоции! Рекомендую посмотреть!

Екатерина Оверчук,
13 лет, г. Москва



ИИ-иллюстрация

“

Здравствуй, дорогая редакция! Мои родители решили развестись. Я должен выбрать, с кем остаться, – с папой или с мамой. Но мне нужны они оба! Мне очень грустно и плохо, земля уходит из-под ног, я в отчаянии. Как с этим справиться?

Петр, 12 лет

Важно всегда оставаться семьей



На вопросы наших читателей
отвечает журналист
Любовь КОЖЕВНИКОВА

Здравствуй, Петя! Тебя можно понять – справиться с такой ситуацией и правда непросто. Но это еще не значит, что выхода нет. Жизнь порой преподносит нам испытания, которые кажутся очень тяжелыми. Например, ситуация, когда родители принимают решение жить отдельно. Ты стоишь перед выбором: с кем оставаться – с мамой или с папой? Но ведь сердце разрывается пополам, потому что каждый из них дорог одинаково!

Что же делать в таком непростом положении? Попробуем разобраться вместе.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЧУВСТВА ВЗРОСЛЫХ?

Прежде всего, постарайся осознать: никто из родителей не принимает такое решение легко. Они тоже переживают боль и разочарование. Возможно, они пытались сохранить семью, но не получилось. Это не значит, что они стали хуже относиться к тебе или меньше любить. Просто взрослые иногда устают бороться и понимают, что дальше продолжать отношения бессмысленно.

Носамоеглавное — это нетвоя вина. Даже если кажется иначе, помни: дети не виноваты в проблемах взрослых.

КАК ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД?

Вот несколько советов, которые помогут легче пережить этот непростой этап:

1 Будь честным с собой. Признайся себе, что тебе больно и грустно. Это нормально — испытывать разные эмоции.

2 Разделяй ответственность: взрослые сами отвечают за свои поступки. Тебе не нужно брать на себя вину или пытаться исправить ситуацию.

3 Общайся открыто: расскажи о своих чувствах маме и папе. Скажи прямо, что хочешь видеть обоих родителей рядом, пусть и порознь. Часто взрослым самим сложно начать разговор, и твой откровенный рассказ поможет им принять правильное решение.

4 Проси встречи с каждым родителем регулярно: договоритесь заранее, чтобы общение происходило комфортно и спокойно. Важно чувствовать поддержку обеих сторон.

5 Помни, что любовь никуда не уходит: мама и папа остаются твоей семьей навсегда, независимо от того, живут ли они вместе или раздельно.

В любом случае помни, что важно всегда оставаться семьей.

Даже если родители разводятся, это вовсе не означает, что ты теряешь кого-то из них. Мы не можем никого потерять — живые люди нам не принадлежат, они личности, и порой принимают такие решения, которых даже сами не понимают. Да-да, даже если они взрослые. Поверь, это тебе сейчас только кажется, что ты вырастешь и все поймешь. Спойлер — вряд ли. Однако, что касается вопроса, с кем остаться жить — с мамой или с папой, думаю, уместнее все-таки сейчас поддержать маму. Ведь так случилось, что она осталась без поддержки папы, ко-

торый раньше всегда был готов подставить свое плечо. Тем не менее постарайся не копить обид.

“Держи в памяти хорошее — ведь оно есть в каждой семье.”

Очень многие сейчас идут по жизни и бережно несут ворох старых обид, в ущерб другой, более интересной ноше. Да, очень сложно перейти на другую ступеньку жизни, если на одной из первых ступеней ты испытал боль. Но тем не менее, рано или поздно ты на нее перейдешь. Не пытайся нести ответственность за решения родителей — но все-таки есть в твоей, только еще зарождающейся, жизни, то, на что ты можешь повлиять. Пусть эти вещи станут для тебя опорой. Подумай, о ком еще ты сам можешь позаботиться. Может быть, о младшей сестренке или братишке (родных или двоюродных)? Может быть, о домашнем питомце? Да и друзей не стоит забывать — тебе нужна их поддержка, но ведь и им нужно твое внимание. Вообще, по жизни лучше всего утешать, а не просить утешения. Слушать, а не требовать, чтобы выслушали тебя. Сейчас, может быть, тебе кажется, что кроме твоей боли, в жизни ничего нет — и на первых порах это естественно. Но потом обязательно настанет время оглядеться вокруг и понять, что у тебя есть еще много чего. И все это вовсе не само собой разумеется, и это стоит беречь. И ты всегда можешь построить свою прекрасную жизнь, такую, какую хочешь именно тебе. Ты — личность, человек, ценный и важный, даже если в начале жизни тебе пришлось пройти через сложное испытание.

Возможно, первое время будет тяжело привыкнуть к новому распорядку. Однако постепенно ты поймешь, что настоящая семья — это в первую очередь взаимная поддержка, забота и любовь.

Так что, несмотря ни на что, знай:

“Ты любим обеими сторонами, и это чувство останется неизменным, каким бы ни было будущее.”

К-поп охотницы на демонов: за и против

Летом 2025 года вышел мультфильм **«К-поп охотницы на демонов»**, влюбив в себя и свои песни весь мир, особенно детей и подростков в России. Но далеко не все родители приветствуют этот мульт. Почему? Мы попросили мам и пап высказать свое мнение. Надеемся, их рассуждения помогут вам, читатели, взглянуть на мультфильм с новой точки зрения.

Мама Рита: Хотя официальный рейтинг мультфильма 18+, его стоит посмотреть подросткам. Детям не надо. Моя дочь-старшеклассница прониклась психологической болью Руми, главной героини, у них схожие проблемы. Дочь сама отчасти проработала свои комплексы, и теперь ей намного легче общаться с разными одноклассниками, которые раньше ее не принимали.

Папа Алексей: Мультфильм неплох, но... Я бы удлинил шорты героинь, слишком уж они короткие. Акцентуация кубиков пресса у парней – тоже плохая идея, физическая красота не должна быть на первом месте. У Миры слишком длинные волосы, а прическа Руми совершенно нереалистичная и сиреневого цвета. Вот придет ребенок в школу с шевелюрой оттенка перьев попугая – и что? Правильно: завуч замечание сделает, директор потребует вернуть человеческий облик, а одноклассники тоже захотят цветные волосы, и вся школа окажется против традиционных ценностей. В общем, не для русских красавиц такое зрелище!

Мама Олеся: Как мама, пересмотревшая с дочерью кипу западных мультфильмов, хочу заметить один очень важный момент в кульминации: соперник Руми Джину – демон жертвует собой ради спасе-

ния девушки и погибает. Тут можно подчеркнуть два огромных плюса: нет ложной смерти, которую так любят западные сценаристы, в особенности Дисней, и сам моральный посыл этой смерти, ведь Джину – демон, он не должен выжить, демоны не могут стать людьми. Однако, как осознавшему свою вину, ему дается искупление: в облике демона он страдал, а после гибели его уже не существует – значит, и боль ушла. Очень тонкий и оригинальный момент. Одобряю.

Папа Станислав: Как? Как охотницы выпрыгнули из летящего самолета, полетели сами и спокойно приземлились на сцену? Как они бегают по крышам на каблуках и прыгают высоко, как на Луне? Кто-нибудь слышал про силу притяжения? А ведь дети насмотрятся, повторить захотят. Мало нам паркурчиков и зацеперов? Нереалистично до отвращения.

Сколько людей – столько и мнений. Пишите нам о фильмах, спектаклях и, конечно, книгах, которые вас «зацепили»! Давайте вместе их обсуждать! В спорах, как известно, рождается истина. Свои письма присылайте нам на адрес

pvz@detfond.org

Подготовила
Лидия КУРСЕЕВА



А знаете ли вы?



...что Агния Барто могла стать балериной?

Агния Львовна Барто родилась 17 февраля 1906 года в Москве. Ее отец, ветеринарный врач Лев Николаевич Волон, хотел, чтобы дочь стала балериной, и отправил ее в московское хореографическое училище. Но уже в девятнадцать лет Агнию увлекла литература. В 1925 году Агния Барто впервые посетила Госиздат, и редактор направил ее в отдел детской литературы. В этом же году вышла ее первая книга – «Китайчонок Ван Ли». Ее книги всегда находили своих читателей.

Такая яркая личность, как Агния Барто, успевала не только писать стихи, пьесы и сценарии фильмов, но также занималась переводами и встречалась с многочисленными читателями в библиотеках, школах и детских садах. Разумеется, ярче всего талант поэта проявлялся в многочисленных стихах, ярких и веселых. Ведь Агния сразу поняла, что смех – самая короткая дорожка к сердцу маленького человека. Даже самые серьезные и хмурые читатели забывают свою серьезность, окунувшись в веселую простоту и свежесть ее стихов. Да и разве можно не улыбнуться, читая о том, какие мучения претерпевает мальчишка ради покупки снегирия:

*До чего же я старался!
Я с девчонками не дрался...
Как увижу я девчонку,
Погрожу ей кулаком.
И скорей иду в сторонку,
Будто я с ней не знаком...*

Ну а Лешенька, которого никто не может уговорить сделать одолжение – выучить наконец таблицу умножения? Это же буквально каждый ученик! Смешно – и не замечаешь, что смеешься над собой. Ведь Агния Барто всегда любила и понимала своих героев, даже если подшучивала над ними. Точно так же она любила своих маленьких читателей, и те всегда платили ей взаимностью.

...почему говорят «и ежу понятно»?

Фразеологизм «ежу понятно» толкуется как «ясно и просто, понятно каждому». Но почему же именно ежу? На этот случай у исследователей есть две гипотезы. Первая – это цитата из стихотворения В. В. Маяковского «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий»: «Ясно даже и ежу – этот Петя был буржуй». Сказка Маяковского настолько врезалась в память всем, кто читал ее в детстве, что чаще всего люди упо-

требляют фразеологизм именно в такой форме: «ясно даже и ежу».

Второй вариант – от названия классов для одаренных детей в СССР. В них были подростки, которым нужно было учиться два года (А, Б, В, Г, Д, Е) или один год (Е, Ж, И). Тех, кто учился по упрощенной программе, так и называли «ежами», а те, кто учился по углубленной программе, сильно опережали «ежей». Именно поэтому в нача-

ле учебного года было актуально выражение «и ежу понятно».

Кстати, ежи считаются умными животными. У них острое обоняние и слух, поэтому они могут находить пищу даже в темноте. Они различают людей (например, хозяев дачного участка, к которым забегают чем-нибудь разжиться), и относятся к одним с симпатией, а к другим враждебно. У ежей хорошая память: в то место, где им удалось вкусно поесть, прибегают не раз.

Победный миг

Перед глазами — треснувший спидометр, стрелка которого замерла на отметке 220. Андрей впивается в руль, чувствуя, как болид «выдыхает» на прямом участке трассы «Сочи Автодром». «Сороковой круг... Последний рывок...» — бессознательно шепчут губы. В левом зеркале — жёлтый болид команды Lada Sport с номером 42, в правом — пёстрая полоса трибуны. И в этой мозаике представилась знакомая фигура отца.

— Он здесь, я чувствую, — шепчет Андрей, влетая в поворот. Но не время отвлекаться.

Отец ушёл, когда Андрею было семь. Просто бросил их с матерью ради женщины, которая пахла дорогими духами и смеялась громче, чем нужно. Он помнил, как стоял у окна, глотая слёзы, и смотрел, как отец грузит чемоданы в такси. «Вырастешь — поймёшь», — произнёс он, даже не обняв сына. Но потом, годы спустя, Андрей начал замечать отца на трибунах. Высокий, в чёрной кепке, всегда вдали от всех. После гонок он исчезал, словно призрак.

Первым наставником Андрея стал дядя Коля — бывший гонщик, друг отца, суровый человек с лицом, изборождённым шрамами от аварий. «Машины не прощают слабость», — говорил он, затягивая болты на стареньких «Жигулях». — Но, если полюбишь их, они станут частью твоей души». Именно дядя Коля уговорил мать отпустить Андрея в картинг, когда тот в 14 лет сжёг сцепление, тайком взяв машину из гаража.

— Ты упрямый как баран, — смеялся дядя Коля, вытирая руки о замасленный фартук. — Но без команды ты никто. Запомни это.

Его командой стала мать, надрывавшаяся на двух работах, чтобы оплачивать запчасти, и сестра Лена, которая вязала синие шарфы «на удачу» перед каждым заездом. «Носи, а то простудишься, — ворчала она, заматывая его в полушерстяной комок. — И не разбейся, дурак».

А ещё — Димка Сокол. Тогда, в юности, они чи-

нили моторы в гараже дяди Коли, мечтая о «Формуле-1» или «Наскаре». Дима, с его громовым смехом и талантом чувствовать машину, был для Андрея не просто другом, а почти братом. И впереди у них счастливые трассы, время побед и большой спорт, но их пути разошлись. Их подписали разные команды. Тогда (кто бы мог подумать!..) Дима ушёл в Lada Sport — команду, которая находилась в аутсайдерах, а Андрей, попавший в G-Drive Racing, сразу вошёл в высшую лигу российского автоспорта. Дима наполнился завистью. Вот он — уже не Димка со двора, который был другом детства, а самый что ни на есть соперник под номером 42, профессиональный гонщик Дмитрий Соколов.

...Сейчас Дмитрий прижимает его к отбойнику. Жёлтый болид скрежещет по бордюру, высекая искры. «Вот чёрт!» — Андрей выруливает влево, чудом удерживая контроль. В наушниках голос дяди Коли, его бессменного штурмана:

— Спокойно! Он провоцирует! Держи ритм!

Но ритм сбивается. И вдруг вспомнилось, как год назад, после скандала с Димой, он напился в гараже, разбил фару своей же машины. Лена пришла, отобрала бутылку и дала пощёчину:

— Ты что, ради него себя горишь? Мама ночами не спит, а ты...

Он не дал ей договорить. Но наутро нашёл на столе её шарф — новый, оранжевый, в фирменном цвете команды, с вышитым синим драконом. «Это сильнее», — гласила записка.

— Температура! — дядя Коля бьёт кулаком по приборной панели. — Двигатель кипит! Сбавляй!

Но Андрей прижимает педаль к полу. Впереди — финишная прямая. Соколов рвётся вперёд, но его машина дёргается — сбой в топливной системе.

И тут он видит его. Отец. Стоит у трибуны, в той

же чёрной кепке, руки в карманах. Их взгляды встречаются на долю секунды. Андрей ждёт, что тот отвернётся, как всегда. Но отец снимает кепку. И кивает.

— Давай! — орёт дядя Коля. — Сейчас!

Андрей влетает в последний вираж, чувствуя, как перегретый мотор воет в агонии. Сорок второй отстаёт на полкорпуса... На метр...

Финиш.

Тишина, густая, как масло. Потом рёв трибун. Его имя вспыхивает на табло, но Андрей не видит и не слышит. Он вылезает из болида, срывает шлем и идёт к отцу. Тот замирает, будто хочет бежать, но ноги приросли к асфальту.

— Зачем? — спрашивает Андрей, задыхаясь. — Зачем ты пришёл? А если бы я разбился? Зачем всё это время ты следил за мной?

— Я... боялся, — отец мнёт кепку. — Боялся, что ты отступишь, откажешься от своей мечты, как я когда-то.

Андрей смотрит на его седину, на морщины, которых не было тогда, в детстве. И вдруг понимает: этот человек не призрак. Он — часть той гонки, что шла в душе.

— Спасибо, — говорит Андрей неожиданно для себя. — Если бы не ты... я бы не научился бороться с самим собой, я бы так и не смог преодолеть себя.

Отец молчит. Но в его глазах — одобрение и гордость за сына.

Позже, на подиуме, Андрей поднимает кубок, но не над головой, а протягивает в толпу — туда, где стоят мать, Лена в синем шарфе и дядя Коля с масляным пятном на рубахе.

— Это ваша победа! — кричит он, и трибуны взрываются овациями.

Сокол подходит, когда стихает шум. Его лицо словно маска, а взгляд обжигает: в нем и ярость, и обида, и горечь поражения, и раскаянье. Но вдруг он улыбнулся, и в уголках глаз мелькнули дружеские искорки.

Соколов молча протягивает руку своему противнику. Андрей пожимает её. Не как соперник. Как человек, который наконец понял: гонки не про то, чтобы обогнать других. Они про то, чтобы не потерять себя.

Вечером, когда зажигаются огни автодрома, Андрей сидит в гараже. Рядом — дядя Коля, ковыряющийся в двигателе, Лена, разворачивающая бутерброды, и мама, глядящая его по голове, как в детстве.

— Знаешь, — говорит дядя Коля, — завтра начнём готовиться к следующему сезону.

Андрей улыбается. Где-то там, за горизонтом, ждёт новая трасса. Но сейчас он здесь. И это — главная победа.

Максим АВЕРИН

Хлебные звезды

Он появлялся каждый вечер, когда солнце начинало сползать в пруд, будто гигантская капля мёда. Старик в слегка потрёпанной кепке, с авоськой, набитой чёрствыми корочками. Я прозвала его Хлебным Дедулей — потому что все утки в округе слетались к нему, когда он стоял, сгорбленный, и кидал им хлеб, будто разбрасывал звёзды. Глупо. Бесполезно. Я бы на его месте устроила из этого хлеба костёр,

чтобы дымом выжечь своё тухлое лето: одноклассники-зомби, вечно уткнувшиеся в телефоны, подруга Лиза, которая выложила мой стих в сторис с подписью «Лол, кто так пишет?», прыщ на носу, который торчал, как сигнальная ракета, и вызывал насмешки окружающих.

В первый раз я плюхнулась на скамейку рядом с ним, громко чавкая жвачкой — специально. Он даже не повернулся.

— Вы вообще в курсе, что хлебом уток кормить нельзя? — выдавила я ядовито. — Они сдохнут от вашей «доброты».

Он кивнул, будто я сказала что-то гениальное, и протянул мне горсть сухарей.

— Это не для них, — хрипло улыбнулся. — Это для меня.

Я фыркнула. Ну конечно, типичный старческий бред. Всё у них «не для того, для чего кажется».

Но на следующий день я пришла снова. Потому что именно в этом парке, в компании этого странного дедули и вечно кричающих уток было тихо и спокойно, а не одиноко, как дома. Утки копошились у его ног, а он шептал им что-то на своём тайном языке, похожем на крикание.

— Почему вы не берёте свежий хлеб? — спросила я, ткаяя кроссовкой в авоську.

— Чёрствый лучше держит форму, — он сложил ладони лодочкой, подул, и крошки взлетели спиралью. — Смотри!

Одна утка, с изумрудной полоской на крыле, подпрыгнула и схватила «звезду» на лету.

— Это Гага. Она любит ловить только в прыжке, — сказал он, и в его голосе проросла нежность, которой хватило бы на пять таких подростков, как я.

Я стала приходить каждый день. Не потому, что он был крутым, совсем нет, а потому, что утки начали меня узнавать. Гага клевала мой шнурок, требуя хлеба, а селезень с кривым клювом — я назвала его Крип — воровал крошки прямо из рук. Хлебный Дедуля молчал, но однажды сказал:

— Ты слишком сильно сжимаешь хлеб. Расслабь ладонь, и он полетит дальше.

Я попробовала. Крошечная «звезда» упала в пруд, и по воде разошлась рябь, целуя берега.

— Жизнь — как хлеб в руке, — пробормотал он. — Сожмёшь слишком сильно — раскрошится, а возьмёшь легко — останется целым.

— Вы философ? — я скривила губы, но сердце ёкнуло, будто его кольнуло гагачьим клювом.

А как-то он не пришёл ни в 16:15, ни в 18:30. Даже когда пруд стал чёрным, как экран мёртвого телефона. Я узнала от бабулек у качелей: «Инфаркт, бедняга... А он каждый день ходил, даже в ливень...».

В авоське, которую я нашла под его скамейкой, лежала записка: «Гага не любит ржаной хлеб. Крипу ломай куски мельче. И отпусти уже свой стих — он красивее, когда летит».

Теперь я кормлю уток. Чёрствым хлебом. Хлебного Дедули больше нет, но его дело продолжает жить. Лиза приходит два раза в неделю — не с пустыми руками, а с пакетиком сухарей. В первый раз она протянула его мне, не поднимая глаз:

— Прости. Твой стих... он был классным. Я просто завидовала, что сама не смогла так написать. Я тоже хочу кормить уток, научи!

Я кивнула. Не потому, что сразу простила, а потому, что Гага в тот момент вырвала у Крипа кусок сухаря и торжествующе захлопала крыльями. Мы рассмеялись. Теперь Лиза учится бросать звёзды: у неё получается криво, но она упрямо продолжает. (Дедуля бы сказал, что она слишком спешит и сильно сжимает сухари.)

А вчера она принесла тетрадь. На обложке — наша Гага, а внутри стихи. Не мои. Её. Я прочитала и сказала:

— Лол, кто так пишет?

Но сразу добавила:

— Давай вместе.

И мы сидели у пруда, подбирали слова, и вот что из этого вышло:

Над прудом, где тишина струится,

Крошки-звёзды тают в вышине.

Гага в танце весело кружится,

Ловит радость в солнечной волне.

Да, рифмы кривые. Зато наши. И когда Лиза выложила этот стих в сторис, подпись гласила:

«Наши рифмы могут быть кривыми, но их свет — настоящий».

А я добавила в комментарии:

«Утки подтвердят: мы всё ещё плохи в поэзии. Но уже не боимся».

Знаете, что я поняла? Звёзды — они не только в небе. Иногда они в чьих-то глазах, когда человек наконец решает быть собой. И в крошках хлеба, которые превращаются в хлебные звёзды.

Полина АННЕНКОВА



Аксинья Домео

Древнегреческий сериал



О героях мифов Древней Греции, которые живут в современной России

Орфей

Поворот ключа не слышно,
Щебетание птичье тише.
Там, снаружи сад, певучий
Приведет Орфея в чувство,
В жизнь эскизную и дальше.
Поиграй на лире, мальчик!
Поиграй еще чуть-чуть,
Ад внутри замолкнет пусть.

Морфей

Морфей едва продрал глаза –
Марш на работу!
Сегодня пасмурно с утра...
О, ад погоды!
Зачем ты смотришь на меня
Из всех проемов?
Заветных часиков поспать

Совсем немного.

Морфей, не трать свою пыльцу,
Сон драгоценный.
Ложись бочком и на краю,
Как в колыбельной.

Прометей

Я подойду к плите, зажгу огонь –
И газовый цветок скользнет
в ладонь.
Дедуля Прометей, я все
запомнил!
И выучил неверные глаголы,
Их тяжкий список: гнать –
дышать – держать...
Вот как нести прозрение и пыл!
Читаешь это? Передай другим.
Что дальше будет –
не предугадать.

Афина

У Афины Палладовны болит
голова,
До конца урока истории пара
минут.
– Дети, цыц! – сказала она. –
Вас много, а я одна.
Хорошо, что есть обезбол,

пряник и кнут.

Лучший учитель –
Рана, что зажила.

На дом нам задали: контуры
личных границ,
это тот самый гештальт,
бла-бла-бла.

Мама, дай сил отстоять себя,
если я правильно все обвела.

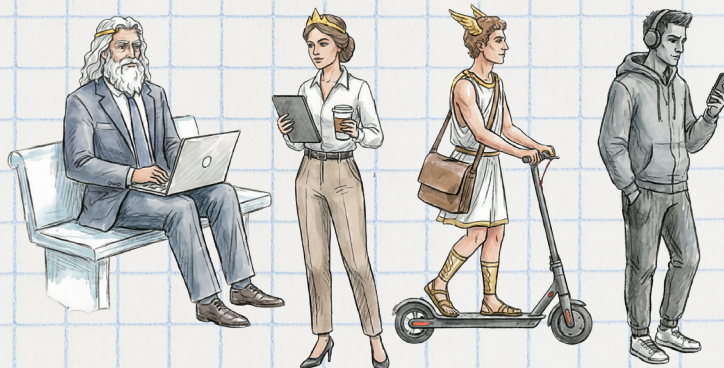
Задание со звездочкой
Для умненькой дочечки.
Афина Палладовна вызывает
к доске.

Четверть летит к концу,
а за ней – весь год.

Я встаю из-за парты,
иду на свет,
Отраженный в бездне загробных
вод.

Икар

Глагол пушистый расцветает
рьяно
И обжигает кончик языка.
Икар, мой сын, лети на свет
упрямо,
Лети и знай:
Полет поймут едва ли,
падение – наверняка.





ИИ-иллюстрация

Колыбель героев

Сережа был слишком юн, чтобы запоминать большие даты и понимать их в полной мере, и уже достаточно взрослый, чтобы с ними работать. В школьном дневнике на завтра была задана тема: «Родина – колыбель героев. К 295-летию с рождения А. В. Суворова и 280-летию с рождения М. И. Кутузова». Тетрадь лежала раскрытой, как поле перед битвой, чистая страница дразнила пустотой. Слова из учебника, даты и названия сражений вертелись у мальчика в голове, но не складывались в связный текст.

– Ну что, ученик мой, – сказала мама, заглянув в комнату, – сходи к деду в музей, проветришься. Там сегодня тихо. Может, придумаешь что-нибудь.

Городок у них был небольшой, старинный, с узкой рекой. Дед – бывший учитель истории – на пенсии сторожил местный исторический музей. Сережа любил запах этого музея – терпкий, как сухие травы, он пах вековым деревом, тканью и стариной.

В зале военной истории было прохладно и тихо. На стене – карта, над ней – пара перекрестных сабель. В витрине – фляга с вмятиной, шевроны, красивые, покрытые ржавчиной клинки. Дед сидел у окна и чистил очки.

– Снова нет идей? – спросил он. – Садись. Хочешь, раскрою тебе секрет?

Дед улыбнулся и кивнул на витрину.

– Эту флягу нашли в наших местах. Говорят, ее носил солдат из дивизии, что шла под главенством

Суворова. А может, и раньше, кто знает... На дне есть царапина – как будто кто-то чем-то острым линию провел. Ты ее не трогай, конечно. Но посмотреть можешь.

Фляга и впрямь была с вмятиной, как будто ее однажды сильно прижали к камню. Сережа наклонился и увидел тонкую, едва заметную линию, чуть изогнутую, как прожилки на дубовом листе.

– Что это? Дорога?

– Дорога. Или просто – направление, – сказал дед. – Все одно. Тебе торчать тут до закрытия можно. Только не усни. Если не удержишься, попадешь в историю, а из нее не так просто выбраться.

Сережа усмехнулся и расположился на табуретке. Писать не хотелось. Он смотрел на карту, на полузабытые написанные поверх нее названия городов. Воздух стоял, пылинки плавали в солнечном луче.

Зал вздохнул полной грудью, дунул легкий сквозняк. И чем дольше сидел Сережа, тем яснее слышал, как где-то вдалеке, через стены и время, нарастает глухой барабанный бой.

Он не понял, как провалился в сон... Трещал костер, пахло смолой и кислым хлебом. Ночь была темная, но звезды горели так низко, что казалось, вот-вот сорвутся и упадут в котелки на огне.

– Сидит, как попугай на ветке, – сказал чей-то бодрый голос. – Смотри, князь Михаил Илларионович, у нас гонец или ангел? Мал, а вид упрямый.

– Ангелам свойственно спокойствие, – ответил

другой, мягкий, усталый голос. – А упрямство – качество солдата. Кто ты, мальчик?

Сережа поднял глаза. Перед ним стояли двое: один невысокий, сухой, с живыми глазами, горящими запальным огнем; другой – выше, плечистый, даже тучный, с повязкой на глазу и губами, сжатыми в трубку – не от злости или раздражения, а от раздумья. На плащах обоих сверкала ночная роса.

– Сережа, – отвечал мальчик. – Мне четырнадцать. Я из... будущего, – выдохнул он, не зная, как это произнести, и стоит ли вообще, – и из музея...

Невысокий рассмеялся.

– Вот видишь, князь, а ты говоришь – ангелов не бывает. Из музея – это почти из рая. Я – Александр Васильевич Суворов. А это – Михаил Илларионович Кутузов. Мы люди простые, все больше по дорогам да по картам. Скажи нам, Сережа из будущего, – он щелкнул пальцами, и из темноты выползла на колени карта, – с какой стороны на эту страну смотришь? И что бы ты хотел узнать, прежде чем стать ее защитником?

Сережа смутился, но почему-то не испугался – рядом с этими солдатами не страшно. Он попытался вспомнить даты, сражения, но сказал другое:

– Я хочу понять, как побеждать, не теряя себя, чтобы после победы чувствовать гордость и радость за свою Родину.

Ветер шевельнул краешек карты. Высокий кивнул, как учитель, который давно ждал таких слов.

– Для этого, Сергей, – сказал он, – надо уметь отступать. Терпеть. Беречь. Беречь живую силу – людей, землю, детей. Победа – это не салют и овации победивших. Победа – это когда раненные доживут до старости.

– А еще идти, – добавил Александр Васильевич, – бодро, быстро и неожиданно. Голова впереди ног. Наука побеждать проста: видишь гору – переходи; видишь реку – плыви; видишь человека – говори. Все дороги – пути к человеку.

Мужчины переглянулись, показав знак согласия друг другу.

– Но мы иногда спорим, – признался высокий. – Александр Васильевич горяч, как огонь, я же холоден, как лед. Он за штурм, я – за ожидание. И все же оба знаем: дело наше одно.

– Один главный враг у нас, – подхватил Суворов. – Зовут его не Наполеон Бонапарт и не как-нибудь еще, имя у него древнее – разлад. Он приходит, когда память рассыпается, когда между людьми нет понимания.

Сережа вцепился руками в край карты. На ней извивались реки, города казались крошечными звездами. Где-то на западе сгустилась тень, похожая на дым.

– А как?.. – начал он и замялся.

– Как победить разлад? – догадался Кутузов. – Соединить. Ты видишь линию? – Он указал на карту, и Сережа увидел тонкую царапину – она шла от гор, где острые зубцы упирались в небо, до широкой дороги, уходящей на восток.

– Это же было на фляге! – вырвалось у мальчика.

– Это дорога, – сказал Суворов. – Ее не на каждой карте нарисуют. Ее надо провести самому. Соединить две мысли, две песни, два лагеря. И вот вопрос к тебе, Сережа: как ты проведешь ее? Прямо? Извилисто? Через реки или по гребням, через горы?

– От твоей линии, – добавил князь Кутузов, – зависит, как мы встретимся. Встречи между войнами – редкость. Но у нас с Александром Васильевичем давно есть разговор.

Сережа сглотнул. Ему дали угольный карандаш. Он поставил точку в горах – где чувствовал дыхание холодного ветра, и точку на дороге, где слышал шум лошадей. Потом медленно, не спеша, повел линию. Он обходил болота, иногда поднимался на вершину, чтобы понять, где низина, и спускался к реке там, где в ней были мелкие камни.

– Как же, – шепнул он сам себе, – я хочу, чтобы встретились не две армии, а два человека.

Линия легла на карту. Тень на западе дрогнула.

– Теперь – дорога есть, – сказал невысокий, и глаза его стали мягче. – Пойдем. Покажу тебе, как ходят в тех местах.

Они шли ночью, и темнота отступала под ногами. Горы шипели ветрами, тропы скребли камнями подошвы, звезды висели, как беззвучные фонари. Сережа не знал, где его ноги и где страх: рядом с самими Суворовым и Кутузовым шаг становился странно легким.

– Слышишь? – спросил один полководец и приложил пальцы к губам. – Это не волки. Это снега разговаривают. У каждого места свой голос. Надо слушать – и тогда не придется кричать. В армии это важнее барабана.

На привале он вытащил из кожаного мешка пару сухарей.

– Ешь, – сказал. – Пока ешь, – живешь. Пока жив, – идешь. А когда идешь, думай о тех, кто рядом, о товарищах. Сильный тот, кто другого не оставил в сугробе. Запомни: солдат – человек. И мальчик с барабаном – тоже человек, а не музыка для атаки.

– У нас в школе... – начал Сережа.

– И в школе солдат есть, – добавил полководец. – Каждый, кто берет на себя смелость быть первым или последним. Каждый, кто умеет подать руку, когда другие ищут виноватого.

Когда рассвело, было видно, как линия, проведенная рукой мальчика, будто бы светится. По ней, казалось, шли невидимые дорожки – к югу и к северу.

А потом быстрый переход, и уже другой запах: талый снег, в дыму – теплый хлеб, и выше всего – время ожидания. Лагерь был тих, будто это не армию разместили у дороги, а монастырь. Люди сидели у костров, разговоры текли негромко. На бревне, оперевшись на палку, сидел Кутузов, его глаз смотрел на дорогу не остро, но глубоко.

– Пришли, – сказал Михаил Илларионович. – Теперь слушай. Мы не гонимся за славой. Мы бережем время. Время – наш главный союзник.

Он неторопливо повел мальчика по тропе к карте, развернул ее на бочке. На карте линия светилась голубовато-белой краской.

– Видишь? Эта дорога привела нас друг к другу. Можно теперь поговорить. Смотри: он – гора, я – долина. Без долины горы не видно, без горы долина утратит смысл. Наш разговор не о том, кто нужнее, а о том, как сделать так, чтобы жить потом было можно.

– Вы бы... – Сережа запнулся. – Вы бы не уступили? Не дали никому пройти?

– Если бы все зависело от меня одного, я бы и дождь остановил, – тихо сказал князь. – Но дождь идет по своим законам. Умение отступать – это также умение потом вернуться. Беречь армию – это беречь будущую возможность.

По другую сторону бочки появился Суворов.

– Мы тут спорили, – сказал он. – Я считаю: лучше давить, пока горячо. Французы умеют атаковать. Князь здесь говорит: горячее пусть остывает у нас в ладонях. Но одно мы решили одинаково: мальчика надо учить слышать.

– Слышать – не значит уступать, – сказал Кутузов. – Слышать – значит выбирать и распределять свое время и чувствовать человека.

Они смотрели друг на друга, и было понятно: люди эти уже давно все поняли про себя и про войну. И спор их не о том, кто лучше, а о том, как двоим защитить страну.

Вечером они сели у костра втроем. Огонь перешептывался с сырыми ветками, кто-то неподалеку тихо наигрывал на свирели.

– Что скажешь, Сережа? – спросил Александр Васильевич. – Ты провел линию – значит, связал дорогой гору и долину. Что ты видишь теперь?

– Я вижу не битву, – сказал Сережа. – Я вижу дорогу, по которой идут солдаты к нашим укреплениям. И еще я вижу, как вы оба управляете целой армией

– Видишь, князь, – сказал Суворов, – мальчик говорит правду. Мы друг другу нужны. Времена-

ми мне хочется прыгнуть на коня и по горам – а он скажет: «Погоди, пусть ночь поработает на нас». И хорошо выходит. А временами он ждет, а я – как сорвусь, и тоже выходит. Поступить можно по-разному, но Россия у нас одна.

– Россия одна, – повторил Михаил Илларионович. – И у нее длинная память. В ней колыбель – не для сна, а для пути. Рождаются герои не для аплодисментов. Герой – это тот, кто в нужную минуту не отвернулся от товарищей, помог и спас их.

Сережа хотел спросить: «А я? А где мне быть героем?» Но не сделал этого, потому что понял: в каждую эпоху это про свое. Его эпоха – не пушки и не фляги. Его эпоха – слова, дела и дороги, которые надо провести в тетрадах между строк, чтобы решать большие проблемы.

– Вернешься, – сказал Александр Васильевич, поднявшись. – И напишешь. Но не про меня и не про князя. Про линию. Про то, что ты сам увидел. Не перечисляй подвиги, не говори о победе над французскими батальонами. Расскажи, что слышал.

– И добавь, – сказал Михаил Илларионович, – что мы видели друг друга и сумели договориться. Так, чтобы все понимали: победы не на плакатах – на лицах людей, которые смогли победить врага и отстоять честь Родины.

– А еще, – добавил Александр Васильевич, – напиши, что разлад – наш главный враг, и что можно ему ударить в бубен. И покажи, как. Детям лучше показывать, чем объяснять.

– Как? – спросил Сережа.

Суворов вынул из-за пазухи короткий нож и провел им по дну фляги, что подал ему Кутузов. На металле, по которому бегали отблески огня, легла новая тонкая царапина – она соединяла старую линию с другой, почти незаметной.

– Так, – сказал он. – У любого дела должна быть связка. Одна царапина – это просто след. Две – это знак.

Проснулся Сережа оттого, что через окно музея в зал пробивалась живая полуденная волна света. В зале пахло тем же: деревом и старой тканью, но к этому запаху теперь примешивалось что-то свежее, как ледяная вода. Дед сопел над книжкой.

Сережа вскочил и подбежал к витрине. На дне фляги, там, где он помнил одну легкую царапину, теперь, без сомнения, было две. Они сходились, образуя единую дугу.

– Ого-о-о... – протянул проснувшийся дед, поднимая очки на лоб. – Это кто же ее так? Я же записал дверцу витрины.

– Это... – Сережа пожал плечами. – Наверное, линия времени.

Дед посмотрел внимательно и кивнул, как будто такое объяснение его вполне устраивало.

– Пиши, – сказал он просто.

Сережа сел за стол, раскрыл тетрадь и неожиданно для самого себя начал не с дат, не с событий. Он написал: «В нашей стране есть дороги, которых не видно на карте. Они связывают не города, а людей. Иногда эти дороги проводят мальчишки карандашами в тетрадях. Иногда – солдаты ножом по дну фляги. Иногда – просто люди своим молчанием и громкими достижениями». Рука сама выводила все новые строчки.

Он писал не про штурмы, не про наступления. Он писал про то, как слышал снег, как горы разговаривают ветром. Про то, как у костра двое спорили – не только для победы, но и для правды. Про разлад, которому можно хлопнуть по бубну – громко и смешно, чтобы он растерялся. Про то, как у каждого времени своя война и своя фляга.

Когда он закончил, дед прочитал и задумался.

– Все, – сказал он. – Этому и место в музее. Через десять лет будешь сам экскурсии вести.

Мальчик тихонько улыбнулся. Он аккуратно положил тетрадь в портфель и вдруг понял: ему хочется сделать еще одну вещь – очень простую, но важную.

В тот же вечер он собрал ребят своей параллели. Они пришли на берег реки, где весной скапливался мусор. Никто не делал вид, что это подвиг. Просто стало ясно: если не мы, то кто? Они принесли перчатки, мешки и фонарики. В сумерках была видна река. Бутылки звякали, скрипели брошенные деревянныешки. Ребята собирали в мешки разный мусор. К концу работы берег действительно стал похож на берег.

– Что это вы делаете? – спрашивали прохожие.

– Да так... Линию проводим.

– Какую? – удивлялись.

– Ту, – отвечал Сережа, – которая на карте не видна.

После уборки друзья сидели у реки и молчали – хорошее, доброе молчание, в котором слышно, как река дышит. Вдалеке кто-то пускал фейерверк – редкие огни-одиночки. Сережа подумал, что иногда салют – это просто разноцветный воздух, который хотел выйти наружу.

Утром на уроке он прочитал свой рассказ. Никто не сказал ни слова. Учительница долго смотрела на Сережу.

– Хорошо, – сказала она. – Вы слышали? Мы говорим о наших защитниках и чувствуем гордость. Сережа смог показать силу и мудрость русских героев, великих русских полководцев, показал мощь нашего народа и чувство крепкой любви к Отчизне.

– И еще... – она улыбнулась. – На выходных в бору утверждаем маршрут экологической тропы. Нужны волонтеры. Ну, как там у тебя? «Линию проводим»?

Сережа кивнул. Он не чувствовал себя главнокомандующим, не ощущал никакой особой миссии. Он был просто спокоен и очень рад.

Вечером он снова пришел в музей не потому, что хотел еще раз увидеть царапины, а потому что место это стало ему домом.

Дед наливал чай. В зале было довольно темно. Сережа подошел к витрине и увидел в отражении не свое лицо, а костер и тех самых двоих мужчин-героев, с кем совсем недавно познакомился.

– Спасибо, – сказал он тихо, не зная, кому именно. Может быть, им двоим. Может, линии, которую провел. А может всему, что двигало его и направляло на правильный путь.

В тот момент ему показалось, что фляга отозвалась тихим металлическим звоном.

– Дед, – сказал он, – а ведь правда: Родина – это колыбель. Только колыбель не сна.

– А чего же? – просил дед внука.

– Колыбель героев, – ответил Сережа. – Наших великих героев.

Дед довольно посмотрел на мальчика, улыбнулся и стал убирать чашки со стола.

Сережа, попрощавшись с дедом, вышел из музея, глубоко втянул свежий воздух и направился домой.

Он думал о всем случившемся в эти дни, вспомнил ребят на берегу реки, великих полководцев из своего сна, их мудрые слова и понял: сила – в тех делах, что сшивают пространство между людьми; чистота на берегу реки – не триумф, а ремесло; спор Кутузова и Суворова был разговором о том, как беречь людей, как учиться давать им жизнь, и о том, что просто жить – это уже победа.

Дома Сережа написал еще несколько строк, но уже не для учителя, а для себя; он чувствовал, как слова обвивают дороги, тропы, голоса, жизненные нити всех людей, которые могут чему-то научиться и понять что-то важное для себя.

Когда на город окончательно опустилась ночь, мальчик посмотрел перед сном в окно. В отражении медленно поплыли тени прохожих, а за ними и огни фонарей и автомобильных фар.

«Родина – колыбель героев, что учатся быть смелыми, отважными и преданными своему дому и близким, тех героев, что всегда поднимаются и достигают своих благородных целей».

С такими мыслями счастливый Сережа лег спать в ожидании следующего дня.

Вадим МИТИН,
ученик школы № 1944 г. Москвы



Решили мы с мамой заняться зимней рыбалкой и отправились в подходящее для этого местечко. Первым делом пошли в местный магазин «Рыболов». Продавец и усатый рыбак подбирали нам снаряжение. Проторчали мы где-то минут тридцать, пока не набрали: мормышки (две штуки), мотыль (пятьсот штук), сухари (2 пакета), кормушку, наживку, бур, прикормку, стул, санки, блесны.

Когда я увидел ценник на все это добро, я почувствовал себя Хлестаковым. «Нет чтобы придержать. Куды там!.. Пошел кутить». Это из комедии «Ревизор». С нас содрали 9500. Мама была в шоке. Теперь придется забыть о зимней резине и о походе в кафе «Узбекская кухня».

По пути в номер гостиницы я слушал нотации, что это бесполезная трата денег и что рыбалка — скучное занятие. Эх, был бы со мной батя, он бы только так на рыбалку ходил. Да и закупились бы побольше.

...Через час мы пошли на рыбалку. Первым делом достали бур. Но, как оказалось, мы его неправильно собрали, и вместо того, чтобы сверлить лунки, агрегат в наших руках ходил ходуном как бешеный волчок.

И тут к нам вышел рыбак. Как я в дальнейшем выяснил, дядя Юра. Красная куртка, черные ватные штаны, валенки, на вид лет 40.

— У нас проблемы с буром! Помогите, пожалуйста!

Дядя Юра кивнул.

— Что там у вас? Показывайте!

Дядя Юра покрутил наш бур. Посмотрел на лезвие. Потрогал пальцем. Обрезался. Чертыхнулся. Почесал голову и подозвал еще одного

рыбака. Тому было около 60 лет, дубленка, ушанка, валенки... Про себя я назвал его Ушанкой. Они отошли и о чем-то долго спорили:

— В общем, бракованный ваш бур, возьмите наш.

Я отправился сверлить лунку. Вычерпал из нее лед, насадил наживку, закинул мормышку и уселся ждать. Рядом сидел дядя Юра и давал советы.

У других рыбаков клевало, а у меня нет.

И наконец-то первый клев! Дядя Юра, Ушанка и прочие столпились вокруг и стали кричать. Я растерялся, и рыба сорвалась с крючка.

— Ну спасибо, вы мне очень помогли, — буркнул я, насаживая нового мотыля.

А потом подсел к запасной лунке дяди Юры и попытался вытащить леща. Но эта зараза сорвалась. И тут дядя Юра закричал:

— Ты кто такой? Уйди, пожалуйста! — Нет.

— Я мастер спорта по зимней рыбалке! Ты мне портишь статистику!

Ну ладно, будет и на моей улице праздник!.. И тут пошел настоящий клев. Я поймал: здорового сома, жирного толстолобика, блестящего сазана, потрясающего окуня, громадного, как дом, налима, трехкилограммового карпа!

Вызвали корреспондентов и теле-репортеров. Они сбежались меня

запечатлеть.

Дядя Юра жмет мне руку и предлагает вступить в его команду.

И вдруг — мама! Треплет меня за плечо:

— Просыпайся! Валенки уже промокли!

Заснул я над лункой, оказывает-

ся. Весь успех мне только примерещился...

— Пока рыбу не поймаю, не уйду! — пробурчал я маме.

Знаете, чего я боялся больше всего? Что поймаю золотую рыбку. Она мне предложит дворец и царство, а я попрошу леща. Желательно, килограммов на 5. И рыбка будет в замешательстве, потому что она своих не выдает.

— Пойдем домой, скоро обед! — сказала мама.

И тут я понял: рыбалка — дело не женское.

Я лихо закинул мормышку. И даже птицы в меня поверили. Слетелись на дерево и стали ждать. Я тоже был в напряжении, но старался не подавать виду.

И я поймал его! Карпа! Ну, может, не совсем карпа, а карпика. Сантиметров на десять. Ну ладно, на пять. Воронье стало к нему приближаться...

А потом... А потом мне стало жалко карпика. И я его отпустил. Воронье смотрело на меня как на дурачка.

И мы с мамой пошли домой. Но процесс рыбалки мне понравился. Ночью мне приснился карпик, который махал мне плавничком.

Александр ЖАДАНОВ,
участник литературной студии
Льва Яковлева при Московской
центральной городской детской
библиотеке им. А. П. Гайдара

Белый человек Джо находился по ту сторону страданий. Он уже не молил, чтоб его оставили в покое, и не взывал к смерти; он был кроток и ни на что не жаловался — бред избавил его от страданий. Ка-Чукте и Гоухи тащили его без всяких церемоний, награждая свирепыми взглядами, а иной раз и тумаками. Они считали себя жертвой величайшей несправедливости. Их сердца были полны страха и жгучей ненависти. Этот человек слаб, так почему они должны тратить на него свои последние силы? Повиноваться означало для них верную смерть; взбунтоваться... Но тут они вспомнили Ситку Чарли, его закон, его ружье.

С наступлением сумерек Джо падал все чаще и чаще, и поднимать его становилось с каждым разом все тяжелее; они начали сильно отставать. Индейцы так ослабили под конец, что стали уже валиться в снег вместе с ним. А между тем на спине, за плечами — жизнь, тепло! В мешках с мукой заключалась животворящая сила. Не думать об этом было невозможно, и то, что случилось, должно было неминуемо случиться. Они устроили привал возле большой партии сплавного леса, которую затерло льдами. Дрова — их было несколько тысяч кубических футов, — казалось, только и ждали спички. А совсем близко поблескивала в проруби вода. Ка-Чукте и Гоухи взглянули на дрова, затем на воду, потом посмотрели друг другу в лицо. Они не обменялись ни единым словом. Гоухи разжег костер; Ка-Чукте наполнил жестянку водой и согрел ее на огне. Джо лепетал на непонятном языке о непонятных делах, творившихся в далеком, чуждом им краю. Размешав муку в тепловатой воде, они приготовили себе жидкую кашу и выпили одну за другой несколько чашек. Они не подумали угостить Джо, но Джо не обижался; Джо ни на что больше не обижался. Он даже не обижался на свои мокасины, которые тихо тлели и дымились на углях от костра.

Вокруг пирующих падал легкий искрящийся снег, падал мягко, ласково, обволакивая их плотной белой мантией. Много еще троп исходили бы они, если бы волею судеб не прекратился снегопад и небо не очистилось от туч. Каких-нибудь десять минут, и они были бы спасены! Оглянувшись, Ситка Чарли увидел столб дыма от костра и все понял. Он посмотрел вперед, туда, где шагали самые стойкие, где шла миссис Эппингуэлл.

— Итак, друзья мои, вы опять забыли, что вы мужчины? Хорошо. Очень хорошо. Двумя ртами меньше.

С этими словами Ситка Чарли завязал мешок с остатками муки и пристегнул его к своему вещевому мешку. Затем он принялся изо всех сил толкать несчастного Джо, пока боль не вывела беднягу из блаженного оцепенения и не заставила его с трудом подняться на ноги. Ситка Чарли поставил его на лыжную, слегка подтолкнул, и Джо пошел. Индейцы попытались было улизнуть.

— Стой, Гоухи! И ты, Ка-Чукте! Или мука придала вашим ногам столько сил, что уж и быстрокрылый свинец вас не догонит? Закон не обманешь. Покажите же, что вы мужчины, и радуйтесь, что умираете сытыми. Встаньте рядом, спиной к бревнам!.. Ну!

Индейцы повиновались без слов, без страха, ибо человек страшится будущего, а не настоящего.

— У тебя, Гоухи, есть жена и дети и вигвам из оленьих шкур на земле племени чиппева. Как ты хочешь распорядиться ими?

— Узнай у капитана, что принадлежит мне, и отдай все моей жене — одеяла, бусы, табак и ящик, который издает чудные звуки, похожие на разговор белого человека. Скажи, что я встретил смерть в пути, но не рассказывай, как это случилось.

— А ты, Ка-Чукте? У тебя ведь нет ни жены, ни детей...

— У меня есть сестра, жена агента фактории в Крошуме. Он бьет ее, ей плохо с ним. Дай ей все, что принадлежит мне по контракту, и скажи, чтобы возвращалась к своей родине. А если сам он тебе попадется и ты захочешь оказать мне услугу, — знай, что ему следовало бы умереть. Он ее бьет, и она его боится.

— Согласны ли вы принять законную смерть?

— Согласны.

— Прощайте же, дорогие друзья! Да попадут ваши души в теплое жилье, да воссядут они возле полных котлов!

С этими словами он вскинул ружье, и тишина огласилась многократным эхо. Едва умолкли последние раскаты, как в ответ издали послышались ружейные выстрелы. Ситка Чарли вздрогнул. Выстрелов было несколько, а он знал, что во всем отряде только у одного человека, кроме него, имелось ружье. Кинув быстрый взгляд на тех, что недвижно лежали на снегу, он с горькой усмешкой подумал о мудрости тропы и быстро зашагал навстречу людям с Юкона.

Жена короля

I

В те дни, когда Северная Страна была еще молодой, кодекс ее личных и гражданских добродетелей не отличался ни многословием, ни сложностью. Когда бремя домашних забот становилось невыносимым и мечты о домашнем очаге превращались в непрерывный протест против унылого одиночества, искатель приключений из Южной Страны, за неимением лучшего, шел в индейский поселок, вносил установленную плату и брал себе в жены одну из дочерей племени. Для той, на кого падал его выбор, это было предвкушением райского блаженства, ибо надо признать, что белые мужья обходились с женами куда лучше и заботливей, чем индейцы. Белый мужчина оставался доволен сделкой, да, по правде сказать, и индейцам было не на что жаловаться. Продав дочь или сестру за несколько бумажных одеял и сильно подержанное ружье и обменяв теплые меховые шкурки на жиденький ситчик и скверное виски, сын земли бодрым шагом шел навстречу смерти, которая подстерегала его то в виде скоротечной чахотки, то какого-нибудь другого, столь же безошибочно действующего недуга, завезенного в страну среди прочих благ высшей цивилизации.

В эту-то эпоху аркадской простоты нравов Кел Галбрейт странствовал по Северной Стране; в дороге он заболел и был вынужден остановиться где-то в районе Нижней реки. Его появление внесло приятное разнообразие в жизнь добрых сестер Святого Креста, которые приютили больного у себя и принялись его лечить; они, конечно, и представить себе не могли, какой горячий эликсир пробегал по жилам больного от всех их ласковых забот, от каждого прикосновения их нежных рук. Станные мысли забродили в голове у Кела Галбрейта — мысли, которые требовали самого пристального внимания. И тут ему попала на глаза воспитанница миссии Магдалины. Но он и вида не подал, решившись до поры до времени выжидать. С наступлением весны он немного окреп, и, когда солнце стало вновь чертить свой огненный круг на небесах и вся страна ожила в радостном трепете, Кел Галбрейт, собрав свои еще слабые силы, двинулся в путь.

Дело в том, что воспитанница миссии Магдалины была сирота. Ее белый отец, повстречав-

шись как-то раз на тропе с медведем, не проявил достаточного проворства, и это стоило ему жизни. А затем ее мать, индианка, оставшись без мужчины, который бы пополнял ее зимние припасы, пошла на рискованный эксперимент: дожидаться нереста лососей, имея всего лишь пятьдесят фунтов муки да фунтов двадцать пять бекона. Следствием этого опыта было то, что осиротевшую Чук-Ра отправили на воспитание к добрым сестрам, которые и окрестили ее Магдалиной.

У Магдалины все же оставалась кое-какая родня; из них самым близким по крови был дядя; это был беспутный человек, который не щадил своего здоровья ради напитка белых — виски. Он стремился общаться с богами каждый день своей жизни, иначе говоря — искал кратчайшей тропы к могиле. Быть трезвым представляло для него сущее мученье. Что такое совесть, он не знал. К этому-то старому бездельнику и явился Кел Галбрейт. Было сказано много слов, выкурено много табаку. Оба собеседника взяли на себя кой-какие обязательства, и дело кончилось тем, что старый язычник, сложив на дно своей лодки несколько фунтов вяленой лососины, поплыл по направлению к миссии Святого Креста.

Каких он надавал там обещаний, что он врал — обо всем этом миру не суждено узнать, ибо сестры никогда не сплетничают. Известно лишь, что когда он покинул миссию, на его смуглой груди красовался медный крест, а в лодке сидела его племянница Магдалины. В тот же вечер была сыграна великолепная свадьба, закончившаяся потlachом. После такого праздника индейцы, как водится, два дня не выходили на рыбную ловлю. Однако сама Магдалины на следующее же утро после свадьбы, отряхнув прах Нижней реки со своих мокасинов, вместе с мужем села в лодку, которой управляли с помощью багра, и отправилась на Верхнюю реку, в край, носивший название Низовых Откосов. Магдалины оказалась хорошей женой, безропотно разделяла с мужем все житейские невзгоды и готовила ему пищу. Она держала его в узде, пока он не научился прикапывать золотой песок и работать засучив рукава. В конце концов он напал на жилу и выстроил себе домик в Серкле; и, глядя на его счастливую семейную жизнь, люди испытывали невольную зависть и томление духа.

К этому времени Северная Страна вступила в полосу зрелости и приобщилась к радостям светской жизни. До сих пор Южная Страна

посылала сюда своих сыновей; теперь же началось новое паломничество — паломничество дочерей Юга. Строго говоря, они не были ни сестрами, ни женами тех белых мужчин, которые приехали сюда раньше, но все же этим дамам удалось привить своим соотечественникам новые взгляды и по-своему поднять весь жизненный тон. Жены из индианок уже не появлялись более на балах, не носились по залу, исполняя добрые старые виргинские пляски или веселый танец «Дан Таккер». Со свойственным им стоицизмом, без жалоб и упреков, взирали они с домашнего порога на владычество своих белых сестер.

Но вот неисчерпаемый Юг прислал из-за гор новое пополнение. На этот раз пришли женщины, которым было суждено править страной. Их слово стало законом, а закон их был крепок, как сталь. Они косо смотрели на индейских жен, а белые женщины первого потока вдруг оробели и попритихли. Нашлись среди мужчин малодушные, которые устыдились своих давних союзов с дочерьми земли и стали с неудовольствием поглядывать на своих смуглых детей; но были и другие — настоящие мужчины — те с гордостью хранили верность данному обету. Когда вошло в моду разводиться с индейскими женами, Кел Галбрейт не потерял мужества, зато он тотчас и ощутил на себе тяжелую десницу женщин, которые пришли в страну позже всех, знали о ней меньше всех и тем не менее безраздельно в ней властвовали.

В один прекрасный день обнаружилось, что Верховые Откосы, расположенные значительно выше Серкла, богаты золотом. Собаčky упряжки доставили эту весть к Соленой Воде; суда, везущие золото, переправили соблазнительную новость через Тихий океан; телеграфные провода и подводный кабель гудели этим открытием. Так впервые услышал мир о реке Клондайк и Юконской территории.

Все эти годы Кел Галбрейт прожил тихо и мирно. Он был хорошим мужем своей Магдалине, и брак их не остался бесплодным. Но постепенно им овладело чувство неудовлетворенности: он стал испытывать неясную тоску по общению с себе подобными, по жизни, из которой был исключен; в нем стало расти смутное желание, появляющееся подчас у всякого мужчины, — желание сорваться с цепи, вкусить радостей жизни. А между тем его ушей достигли фантастические легенды об этом удивительном эльдорадо, заманчивые описания нового города палаток и хижин, невероятные рассказы о

чечако, которые обрушились на этот край настоящей лавиной. Серкл опустел, жизнь в нем остановилась. Мир — обновленный и прекрасный — переместился вверх по течению.

Кела Галбрейта потянуло в гущу событий, он хотел увидеть все собственными глазами. Поэтому, как только закончились зимние промысловые работы, он положил сотню-другую фунтов золотого песку на большие весы Компании и взял чек на получение соответствующей суммы в Доусоне. Затем, поручив наблюдение за рудниками Тому Диксону, поцеловав Магдалину на прощанье и пообещав ей вернуться, когда появится первый лед, он сел на пароход и отправился вверх по течению.

Магдалина ждала. Она прождала его все три солнечных месяца. Она кормила собак, возилась с маленьким Келом, провожая короткое лето и глядя вслед уходящему солнцу, которое пустилось в свой долгий путь на юг. Кроме того, она много молилась — этому она выучилась еще у сестер Святого Креста. Наступила осень, на Юконе появился первый лед, короли Серкла возвращались на зимние работы, а Кела Галбрейта все не было. Очевидно, Том Диксон получил от него письмо, так как рабочие по его распоряжению привезли на нартах запас сухих сосновых дров на зиму. Компания, должно быть, также получила письмо, так как прислала несколько собачьих упряжек с провизией самого отличного качества, уведомив Магдалину, что она может у них пользоваться неограниченным кредитом.

Испокон века принято считать главным виновником всех женских горестей — мужчину; но тут мужчины-то как раз помалкивали, позволяя себе лишь время от времени отпускать крепкое словцо по адресу отсутствующего брата, а женщины, вместо того чтобы следовать их примеру, поспешили довести до слуха Магдалины диковинные рассказы о делах и днях Кела Галбрейта; в этих рассказах фигурировала некая греческая танцовщица; говорили, что для нее мужчины служили такой же забавой, как для детей мыльные пузыри. Магдалина была индианка, и, кроме того, у нее не было подруги, к которой она могла бы пойти за мудрым советом. Целый день она молилась и размышляла, а к вечеру, будучи женщиной решительной и энергичной, она запрягла собак, привязала маленького Кела к нартам и двинулась в путь.

Юкон еще не стал, но с каждым днем прибрежный лед все рос, превращая реку в узень-

кий мутный ручеек. Только тот, кому когда-либо доводилось пройти сто миль по ледяной кромке, а потом еще двести по торосам уже замерзшей реки, в состоянии представить себе, что должна была вынести эта женщина, каких трудов и мучений ей стоил этот переход. Но Магдалина была индианка и поэтому как-то вынесла все. И вот ночной порой в дверь Мэйлмюта Кида кто-то постучал. Хозяин открыл дверь, накормил голодных собак, уложил в постель маленького крепыша и занялся женщиной, которая еле держалась на ногах от усталости. Пока она рассказывала ему свою историю, он стянул с нее обледенелые мокасины и принялся колоть ей ноги острием ножа, чтобы проверить, насколько они обморожены.

В мужественной душе Мэйлмюта Кида было что-то нежное, женственное, благодаря чему самые свирепые собаки испытывали к нему доверие и самые суровые сердца раскрывались перед ним. Не то чтобы он добивался чьих-либо излияний — сердца раскрывались навстречу ему так же естественно, как раскрываются цветы навстречу солнцу. Говорили, что сам отец Рубо, священник, исповедовался ему; а уж простые люди, мужчины и женщины Северной Страны, без конца толкались в его дверь — дверь, у которой щеколда никогда не закладывалась. Мэйлмют Кид в глазах Магдалины был человеком, который не мог ошибаться ни в словах, ни в поступках. Она знала его с самого детства, с того дня, когда стала жить в среде, к которой принадлежал ее отец; и ей, полудикарке, представлялось, что в Мэйлмюте Киде сосредоточена вся мудрость веков, что его взору дано провидать сквозь завесу будущего.

В стране царили ложные идеалы. Нынешняя общественная мораль Доусона не совпадала с прежней, и буйный рост Северной Страны вызвал к жизни много дурного. Все это Мэйлмют Кид понимал; он также знал, что собой представляет Кел Галбрейт. Он знал, что одно необдуманное слово, сказанное впопыхах, подчас наносит непоправимое зло. И в довершение всего ему хотелось хорошенько проучить этого человека, пристыдить его как следует. На другой день вечером он устроил небольшое совещание, пригласив к себе молодого горного инженера Стэнли Принса и Джека Харрингтона, по прозвищу «Счастливым Джек», которого он просил прийти со своей скрипкой. И в ту же ночь Беттлз, которому Мэйлмют Кид в свое время оказал неоценимую услугу, запряг собак Кела Галбрейта, привязал к нартам Кела Галбрейта-

младшего и исчез с ними в темноте, по направлению к реке Стюарт.

— Итак, раз, два, три; раз, два, три. Теперь обратно. Нет, не так! Сначала, Джек! Смотри-те — вот так! — Принс исполнил нужное па с изяществом человека, который привык дирижировать котильоном.

— И-и-раз, два, три; раз, два, три. Обратно! Вот. Это уже лучше. Повторите. Да не смотрите же на ноги! Раз, два, три; раз, два, три. Коро-че шаг! Вы ведь не собак погоняете! Попробуем еще раз. Вот! Хорошо! Раз, два, три; раз, два, три...

Принс и Магдалина кружились в бесконечном вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтоб было просторней танцевать, Мэйлмют Кид сидел на койке, уткнув подбородок в колени, и с интересом смотрел на танцующих. Джек Харрингтон сидел рядом с ним и всюду пиликал на своей скрипке, стараясь подлаживаться к танцорам.

Это была своеобразная, неслыханная затея — то, что задумали эти трое мужчин, желая помочь одной женщине. Пожалуй, самым трогательным во всем была та деловитость, с какой они занимались своим делом. Магдалину натаскивали со всей строгостью, с какой готовят спортсмена к состязанию или приучают собаку ходить в упряжке. Правда, Магдалина представляла собой благодарный материал, так как, в отличие от своих соплеменниц, ей не приходилось в детстве носить тяжести и прокладывать путь по снежной целине. К тому же она была хорошо сложена, подвижна, и в ней проглядывала какая-то робкая грация. Эту-то скрытую грацию они и пытались выявить и развить.

— Вся беда в том, что она с самого начала научилась танцевать неправильно, — говорил Принс зрителям, усадив свою запыхавшуюся ученицу на стол. — Она быстро схватывает, но мне было бы легче с ней, если б она совсем не умела танцевать. Кстати, Кид, я никак не пойму, откуда у нее это? — Принс повторил своеобразное движение плеч и шеи, свойственное Магдалине во время ходьбы.

— Это что! Ее счастье, что она воспитывалась в миссии, — ответил Мэйлмют Кид. — Это от ношения тяжестей на спине, — пояснил он, — от ремешка, который затягивается на голове. У других индианок это еще сильнее выражено. Ей же пришлось таскать на себе тяжести только после того, как она вышла замуж, да и то

лишь на первых порах. Впрочем, они с мужем хлебнули горя — они ведь были на Сороковой во время голода.

— Как бы нам избавить ее от этой привычки?

— Сам не знаю. Разве что попробовать выгуливать с ней каждый день часа по два и следить за тем, как она держится при ходьбе? Хоть немножко да поможет. Верно, Магдалина?

Молодая женщина молча кивнула в ответ. Раз Мэйлмют Кид, который знает все на свете, так говорит — значит, это так и есть. Вот и все.

Она подошла к ним — ей не терпелось продолжать прерванные занятия. Харрингтон внимательно разглядывал ее, по статям, как осматривают лошадь. Должно быть, он остался доволен осмотром, так как спросил с неожиданным воодушевлением:

— Так что же взял за вас этот старый оборванец, ваш дядька, а?

— Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок виски. Ружье — поломанное. — Последние слова она произнесла с презрением; видно, ее возмущало то, как низко оценили ее девичество.

Она неплохо говорила по-английски, переняв все особенности речи своего мужа, но все же не совсем без акцента, отличающего индейцев, с их характерным тяготением к причудливым гортанным звукам. Ее учителя занялись и этим и, кстати сказать, весьма успешно.

В следующий перерыв Принс обратил внимание своих товарищей еще на одно обстоятельство.

— Послушайте, Кид, — сказал он. — О чем мы с вами думали? Нельзя же в самом деле учиться танцевать в мокасинах! Обуйте ее в туфельки да выпустите на паркет — тогда она вам покажет!

Магдалина приподняла ногу и стала с удивлением разглядывать свой бесформенный мокасин. В прежние годы она танцевала точно в такой обуви и в Серкле и на Сороковой Миле, и тогда это никого не смущало. Теперь же... Ну, да Мэйлмют Кид знает, что годится, что нет.

Мэйлмют Кид, конечно, знал; кроме того, он обладал хорошим глазомером. Надев шапку и натянув рукавицы, он отправился с визитом к миссис Эппингуэлл. Муж ее, Клоув Эппингуэлл, крупный государственный чиновник, имел вес в обществе. Как-то на губернаторском балу Кид заметил изящную маленькую ножку миссис Эппингуэлл. Кид знал, что миссис Эппингуэлл не только хороша собой, но и умна. Поэтому он не постеснялся обратиться к ней за

небольшой услугой.

Когда Кид вернулся, Магдалина на минутку удалилась в смежную комнату. Когда же она вышла, Принс чуть не подскочил от изумления.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Кто бы мог подумать! Вот бесенок! Да у моей сестры...

— Ваша сестра англичанка, — перебил его Мэйлмют Кид, — и нога у нее английская. Род же, к которому принадлежит эта девушка, отличается маленькой ногой. Мокасины лишь сделали ее ступню чуть пошире; а так как ей не приходилось в детстве бегать за собачьей упряжкой, ноги ее не изуродованы.

Но такое объяснение ничуть не умалило восторга Принса. Харрингтон же, человек практический, глядя на изящную ступню с высоким подъемом, невольно вспоминал гнусный преискурент: «одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок виски».

Магдалина была женой короля, у которого сокровищ хватило бы на двадцать красоток, разодетых по последней моде, однако она никогда не носила никакой обуви, кроме мокасин, сшитых из дубленой лосевой кожи. Она не без трепета посмотрела на свои ноги, обутые в белые атласные туфельки, но тут же прочла восторг, чисто мужское восхищение в глазах своих друзей. Лицо ее залилось горделивой краской. На миг ее опьянило это впервые испытанное чувство собственного обаяния, затем она пробормотала с еще большим презрением, чем прежде: «И одно ружье — поломанное».

Тренировка продолжалась. Каждый день Мэйлмют Кид совершал с молодой женщиной длительные прогулки, чтобы выправить ее осанку и приучить ее к короткому шагу. Риск, что ее узнают, был невелик, так как Кел Галбрейт и другие ветераны затерялись в многочисленной толпе новичков, нахлынувших на страну. К тому же изнеженные женщины Юга ввели обычай носить парусиновые маски, чтоб защищать свои щеки от острого жала северного мороза, от его жестоких ласк. Мать, повстречавшись на тропе с родной дочерью, закутанной в беличью парку, в маске, скрывающей лицо, прошла бы мимо, не узнав ее.

Ученье между тем шло быстрыми шагами. Вначале, правда, дело подвигалось туговато, но за последнее время были достигнуты значительные успехи. Перелом наступил в тот вечер, когда Магдалина, примерив белые атласные туфельки, вдруг обрела себя. Тогда же в ней проснулась — помимо того чувства собственного достоинства, которое было свойственно ей и пре-

жде, — гордость дочери белого отца. До сих пор она смотрела на себя как на чужую здесь, как на женщину низшей расы, купленную своим господином из прихоти. Муж ей казался богом, которому почему-то вздумалось возвысить ее, недостойную, до своего божественного уровня. Но она всегда помнила — даже после того, как у них родился маленький Кел, — что она не принадлежит к роду мужа. Муж ее был бог, женщины его рода — богини. Она могла только сравнивать себя с ними, но никак не равнять. Говорят, что привычное становится обычным: потому ли, по другой ли какой причине, но в конце концов она раскусила этих белых искателей приключений и научилась оценивать их по достоинству.

Конечно, она до этого дошла не столько путем сознательного анализа, не доступного ее уму, сколько благодаря своей женской проницательности. В тот вечер, когда она впервые надела белые атласные туфельки, от нее не укрылся откровенный восторг ее трех друзей. Правда, дело шло всего лишь о форме ноги, но невольно напрашивались и другие сравнения. Ореол, которым она до сих пор окружала своих белых сестер, развеялся, как только она подошла к себе с той же меркой, с какой принято подходить к женщинам Юга. Оказалось, что они всего-навсего женщины, — так почему же ей не занять такое же положение, какое занимали они? Она увидела, чего ей не хватает, а с сознанием слабости пришла сила. Она работала над собой с таким упорством, что ее три наставника часто просиживали до поздней ночи, дивясь вечной загадке женщины.

Приближался День благодарения. Время от времени Беттлз присылал весточку с берегов Стюарта, сообщая о здоровье маленького Кела. Скоро можно было ждать их обратно. Не раз, заслышав звуки вальса и ритмический топот ног, какой-нибудь случайный гость заглядывал в жилище Мэйлмюта Кида. Но он видел лишь Харрингтона, пиликающего на скрипке, да двух друзей, отбивающих такт ногой или оживленно обсуждающих спорные па. Магдалину же не видел никто: она всегда успевала проскользнуть в смежную комнату.

Как-то вечером к ним завернул Кел Галбрейт. В тот день Магдалина получила приятную весточку с реки Стюарт и была в ударе: она превзошла себя не только в походке, манере держаться и грации, но и в чисто женском кокетстве. Мужчины изощрялись в остротах, а она блестяще парировала их; опьяненная успехом и чувством собственного могущества, она с необы-

чайной ловкостью отступала и наступала, то помыкая своими кавалерами, то снисходя к ним. Совершенно инстинктивно все трое поддались обаянию, — не красоты, не ума и не остроумия, а того неопределенного свойства женщины, которому мужчины покоряются, не зная, как его назвать. Вся комната так и ходила ходуном от восторга, когда Магдалина и Принс кружились в заключительном танце. Харрингтон подпускал невероятные коленца на скрипке, а Мэйлмют Кид в каком-то неистовстве схватил метлу и выделывал с ней дикие антраша.

Вдруг наружная дверь дрогнула от сильных ударов, и в ту же минуту заговорщики увидели, как приподнялась щеколда. Они знали, как действовать в таких случаях. Харрингтон продолжал играть. Магдалина ринулась в открытую дверь смежной комнаты. Метла полетела под койку, и когда Кел Галбрейт и Луи Савой просунули свои головы в дверь, Мэйлмют Кид носился по комнате в обнимку с Принсом, откалывая неистовую шотландскую джигу.

Индийские женщины не имеют привычки лишаться чувств под влиянием сильных переживаний, но на этот раз Магдалина была весьма близка к обмороку. Скорчившись у двери, она целый час прислушивалась к глухому рокоту мужских голосов, похожему на отдаленный гром. Интонации ее мужа, все особенности его речи проникли ей в душу, как отзвук песни, слышанной в детстве; ее сердце билось все сильнее, она почувствовала слабость в коленях и, наконец, в полубморочном состоянии упала тут же у двери. К счастью, она не могла ни видеть, ни слышать, как он прощался.

— Когда вы думаете вернуться в Серкл? — как бы между прочим спросил Мэйлмют Кид.

— Признаться, я об этом еще не думал, — отвечал тот. — Во всяком случае не раньше, чем вскрыется река.

— А Магдалина?

Кел Галбрейт потупился и покраснел. Если бы Мэйлмют Кид не так хорошо знал человеческую породу, он бы почувствовал презрение к этому человеку. Но у Мэйлмюта Кида только сжалось горло от негодования против тех белых женщин, которые пришли в страну и, не довольствуясь тем, что вытеснили ее коренных жительниц, внушили мужчинам нечистые мысли и постыдные поступки.

— А что ей делается? — произнес король Серкла скороговоркой, как бы извиняясь. — Там, знаете, Том Диксон присматривает за моими делами, так он и о ней заботится.

Мэйлмют Кид вдруг остановил его, прикоснувшись рукой к его плечу. Они вышли на улицу. Волшебные огни северного сияния сверкали и переливались над их головами; внизу, у подножья холма, разлегся спящий город. Откуда-то совсем снизу раздался одинокий лай собаки. Король открыл было рот, чтобы заговорить, но Кид сжал его руку, снова призывая к молчанию. Лай повторился. Собаки, одна за другой, подхватили песню, и вскоре ночная тишина огласилась многоголосым хором.

Тому, кто слышит эту жуткую песню впервые, открывается главная и самая великая тайна Севера; а тому, кто слышал ее не раз, чудится в ней погребальный звон по несбывшимся надеждам. Это вопль мятущихся душ, ибо все наследие Севера, страдания многих поколений вобрала в себя эта песня; всем тем, кто отбился от человеческого стада, она — и предостережение и реквием.

Наконец, всхлипнув еще несколько раз, песня замерла. Легкая судорога прошла по всему телу Кела Галбрейта. Кид без труда читал его мысли; вместе с ним он переживал вновь томительные дни голода и недугов; вместе с ним он видел терпеливую Магдалину, без жалоб и сомнений разделявшую все опасности, все невзгоды. Картины, суровые и четкие, одна за другой проходили перед духовным взором Кела Галбрейта, и прошлое цепкими своими пальцами сдавило его сердце. Момент был острый. Мэйлмют Кид испытывал большое искушение тут же открыть свой главный козырь и разом выиграть игру. Но он готовил Галбрейту более суровый урок и устоял перед искушением. Они пожали друг другу руки; снег застонал под украшенными бисером мокасами: король спускался с холма.

Магдалина была разбита и растеряна; не осталось и следа от веселого бесенка, чей смех был так заразителен и чей румянец и сверкающий взгляд всего лишь час назад заставили ее руководителей позабыть все на свете. Вялая, безучастная, она сидела на стуле в той же позе, в какой ее оставили Принс и Харрингтон. Мэйлмют Кид нахмурил брови. Это никуда не годилось. В предстоящей встрече с мужем ей надлежало держаться с величественным высокомерием. Нужно было, чтобы она провела всю сцену, как настоящая белая женщина, иначе ее победа не будет победой. Он поговорил с ней строго, без обиняков, посвятив ее в тонкости мужской психологии, и она, наконец, поняла, какие все-таки простачи мужчины и отчего слово женщины для них закон.

За несколько дней до праздника Мэйлмют Кид еще раз посетил миссис Эппингуэлл. Она произвела быструю ревизию своему гардеробу и нанесла продолжительный визит в мануфактурный склад Тихоокеанской компании, после чего отправилась вместе с Кидом в его жилище — знакомиться с Магдалиной. Тут пошло такое, о чем и не снилось никогда в этом доме: шили, кроили, примеряли, подрубали, примеряли — словом, проделывали тысячи непонятных и удивительных операций, во время которых мужчинам нельзя было присутствовать и их изгоняли из дома: они были вынуждены искать пристанища за двойными дверьми «Оперы». Они так часто шушукались за столом, их тосты были так загадочны, что завсегдатаям ресторана стала мерещиться за всем этим вновь открытая россыпь, сулившая неслыханные богатства; говорят, что несколько новичков, а среди них даже один ветеран, держали наготове под стойкой бара свои походные мешки, с тем чтобы ринуться в путь при первом сигнале.

У миссис Эппингуэлл были поистине золотые руки, и Магдалина предстала накануне праздника перед своими наставниками настолько преображенной, что те даже оробели. Принс укутал ее в канадское одеяло с притворной почтительностью, в которой, впрочем, сквозило больше почтительности, чем притворства; Мэйлмют Кид подал ей руку и почувствовал, что рискует забыть принятую на себя роль ментора. Харрингтон, который все не мог выбросить из головы преysкурant, где фигурировало поломанное ружье, замыкал шествие и за все время, что они спускались с холма в город, ни разу не раскрыл рта. Подойдя к зданию «Оперы» с черного хода, они сняли с Магдалины одеяло и расстелили его на снегу. Легко высвободив ноги из мокасин Принса, она ступила на одеяло новыми атласными туфельками. Маскарад был в разгаре. Магдалина было замаялась, но ее друзья раскрыли дверь и втолкнули ее. Сами же, обежав вокруг дома, вошли с парадного подъезда.

II

— Где Фреда? — спрашивали ветераны, в то время как новички, или, как их называли, чечачо, с наименьшим жаром вопрошали, кто такая Фреда.

Зал так и гудел этим именем. Оно было у всех на устах. В ответ на расспросы чистеньких и

аккуратненьких новичков, золотоискатели, посевшие на приисках и гордые своим званием «стариков», либо вдохновенно ввали — на это они были мастера! — либо, возмущенные невежеством желторотых, свирепо отмалчивались. Сюда съехалось чуть ли не сорок королей с Верховых и Низовых Откосов. Каждый из них был уверен, что ему удалось напасть на горячий след, и каждый был готов поручиться за верность своих догадок желтым песком своего королевства. Вскоре пришлось выделить человека в помощь весовщику, на чью долю выпала обязанность взвешивать мешочки с золотом; а рядом кучка игроков, из тех, кто изучил во всех тонкостях законы, управляющие случаем, принялась записывать ставки и намечать фаворитов.

Которая же Фреда? Сколько раз казалось, что греческая танцовщица обнаружена, сколько раз новое открытие порождало панику среди игроков, и букмекеры заносили в свои книжечки новые заклады: люди страховались на всякий случай. Мэйлмют Кид тоже проявил интерес; его появление было встречено шумным восторгом. Мэйлмюта Кида знали все. Он обладал острым глазом, схватывающим особенности походки, и тонким ухом, которое улавливало тембр голоса. Его выбор остановился на замаскированной красавице, изображавшей собой «Северное сияние». Но греческая танцовщица оказалась неуловимой даже для его проницательного взора. Общественное мнение склонялось в пользу «Русской княжны» — она была самой изящной маской на балу, а следовательно, она и была Фредой Молуф.

Во время кадрили поднялся радостный гул: Фреда нашлась! На прошлых балах во время гран-рон Фреда исполняла неподражаемое па собственного изобретения. И на этот раз, когда дошли до этой фигуры, «Русская княжна» вышла на середину, и все увидели те же своеобразные ритмические колебания стана, те же движения рук и ног. Только отгремел ликующий хор («Вот видишь!», «Я говорил!»), от которого задрожали стены, как вдруг оказалось, что «Северное сияние» и другая маска, «Полярный дух», с неменьшим искусством исполняли те же па. Когда же их примеру последовали две одинаковые маски, изображавшие «Солнечных зайчиков», и третья, «Снежная королева», к весовщику пришлось приставить еще одного помощника.

В самый разгар веселья в зал морозным вихрем ворвался Беттлз, только что вернувшийся

с тропы. Когда он закружился в танце, его заиндевелившие брови превратились в настоящий водопад, его усы, все еще не оттаявшие, были, казалось, усеяны брильянтами и радужно поблескивали, а ноги так и скользили на льдинках, которые со звоном отлетали от его мокасин. В Северной Стране привыкли веселиться без церемоний — люди приисков и тропы уже давно позабыли свою былую щепетильность; только в высших чиновных кругах еще придерживались кое-каких условностей. Здесь же кастовые различия не имели никакого значения. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены, схватившись за руку с дамами, неслись по кругу, выкидывая самые диковинные коленца. Незыскательные в своем веселье, буйные и неотесанные, они, однако, не были грубыми — напротив, их несколько неуклюжая галантность была под стать самой рафинированной любезности.

В поисках греческой танцовщицы Келу Галбрейту удалось занять место в той кадрили, в которой танцевала «Русская княжна»; подозрение публики больше всего падало на нее. После первого же танца с ней Кел Галбрейт был готов прозакладывать все свои миллионы, что это не Фреда, и больше того — что его рука когда-то уже обнимала эту талию. Он не мог вспомнить, где и когда это было, но чувство чего-то мучительно знакомого до такой степени завладело им, что он уже был поглощен распутыванием этой новой тайны. Мэйлмют Кид, вместо того чтобы помочь ему, только и делал, что уводил «княжну» и, танцуя с ней, с жаром шептал ей что-то на ухо. Усерднее же всех за «Русской княжной» ухаживал Джек Харрингтон. Он даже отвел Кела Галбрейта в сторону и, закидав его самыми фантастическими предположениями насчет личности незнакомки, поделился с ним своим намерением завоевать ее сердце. Король из Серкла был задет за живое: мужчина по своей природе не однолюб, и Кел Галбрейт позабыл и Магдалину и Фреду в своем новом увлечении.

Скоро уже всюду заговорили, что «Русская княжна» вовсе не Фреда Молуф. Общий интерес к маске возрос. Предлагалась новая загадка: все знали Фреду, но не могли ее найти, а тут вдруг нашли кого-то, но не знали, кто это. Женщины — и те не могли определить, кто такая «Русская княжна», а уж они-то знали всех в городке, кто хорошо танцевал. Многие пришли к заключению, что это дама из высших чиновных кругов, которой вздумалось подура-

читься. Кое-кто утверждал, что она скроется до того, как начнут срывать маски. Другие с меньшим жаром настаивали, что эта женщина — репортер канзасской газеты «Стар», прибывшая сюда со специальным заданием описать их всех (по девятисто долларов за столбец!). Вековикам еще прибавилось работы.

Ровно в час все пары вышли на середину зала. Среди всеобщего восторга и смеха, беспечного, как у детей, началась церемония срывания масок. Маски слетали одна за другой, вызывая бесконечные возгласы удивления. Сверкающее «Северное сияние» оказалось дюжей негритянкой, которая зарабатывала до пятисот долларов в месяц, стирая на местных жителей. У «Солнечных зайчиков» обнаружили усы, и все узнали в них двух братьев — королей Эльдорадо. Наибольший интерес в публике вызывала кадрили, в которой Кел Галбрейт танцевал с «Полярным духом», а Джек Харрингтон с «Русской княжной». Они медлили срывать маски. Кроме них, все уже открылись, а греческой танцовщицы так и не нашли. Все глаза были устремлены на эту четверку. Поощряемый криками толпы, Кел Галбрейт снял маску со своей визави. Показалось прелестное лицо, и сверкнули блестящие глаза Фреды. Поднявшийся было гул тут же затих: все ожидали разрешения последней загадки — тайны «Русской княжны». Лицо ее еще было скрыто, Джек Харрингтон никак не мог снять с нее маску. Гости были вне себя от нетерпения. Харрингтону пришлось измять хорошенькое платьице незнакомки, и, наконец, маска слетела. В зале произошел настоящий взрыв. Оказалось, что они всю ночь протанцевали с индианкой, а это уже было против правил!

Однако те, кто знал, в чем дело, — а их было не так уж мало, — тотчас замолчали, и наступила полная тишина. Взмеченный Кел Галбрейт крупными шагами пересек зал и подошел к ней. Он заговорил с ней на чинукском наречии. Она же, сохраняя полнейшую невозмутимость, точно и не замечая, что является центром всеобщего внимания, отвечала ему по-английски. Она не выказала ни страха, ни раздражения, и ее великосветская выдержка вызвала невольную усмешку у Мэйлмюта Киды. Король был озадачен и растерян: его жена, простая индианка, перещеголяла его в умении владеть собой.

— Пошли! — сказал он наконец. — Пошли домой.

— Прощу прощения, — ответила она, — но я обещала мистеру Харрингтону поужинать с

ним. К тому же у меня столько еще приглашений...

Харрингтон подал ей руку, чтобы увести, ничуть не заботясь о том, что ему при этом пришлось повернуться спиной к противнику, — правда, Мэйлмют Кид на всякий случай протиснулся поближе к ним. Король из Серкла был ошеломлен. Дважды его рука хваталась за пояс, и дважды Мэйлмют Кид весь подбирался, готовясь к прыжку. Но удаляющаяся пара благополучно проследовала в столовую, где их ждали консервированные устрицы (по пять долларов порция). Толпа шумно вздохнула и потянулась за ними. Фреда, надувши губки, вошла с Келом Галбрейтом; но у нее было доброе сердце и злой язычок, и она не преминула отравить ему удовольствие от устриц. Что именно она говорила ему, неважно, а важно то, что его лицо попеременно краснело и бледнело и что он не один раз крепко выругался по собственному адресу.

Пирующие шумели вовсю, но как только Кел Галбрейт перешел к столику, за которым сидела его жена, все умолкло. После того как маски были сорваны, золото так и посыпалось на весы: на этот раз спорили о том, чем кончится вся история. Все следили за главными героями, затаив дыхание. Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей со стола скатертью он держал на колене смит-и-вессон. Магдалина подняла на мужа скучающий и равнодушный взор.

— Раз... разрешите пригласить вас на мазурку? — спросил король, слегка заикаясь.

Жена короля взглянула на свою карточку и наклонила голову в знак согласия.

1899 г.

Северная Одиссея

1

Полозья пели свою бесконечную унылую песню, поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на жожаках; но собаки и люди устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была не утоптана после недавнего снегопада, и нарты, груженные мороженой олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с настойчивостью почти человеческой. Темнота сгущалась, но в этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко падал

в неподвижном воздухе, но не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких-нибудь десять градусов ниже нуля, Майерс и Беттлз подняли наушники, а Мэйлмют Кид даже снял рукавицы.

Собаки устали еще с полудня, но теперь они как будто набирались новых сил. Самые чувкие из них стали проявлять беспокойство, нетерпеливо дергали постромки, принохивались к воздуху и поводили ушами. Они злились на своих более флегматичных товарищей и подгоняли их, покусывая сзади за ноги. И те, в свою очередь, тоже заражались беспокойством и передавали его другим. Наконец вожак передней упряжки радостно завизжал и, глубже забирая по снегу, рванулся вперед. Остальные последовали за ним. Постромки натянулись, нарты помчались веселее, и люди, хватаясь за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, чтобы не попасть под полозья. Дневной усталости как не бывало; они криками подбодряли собак, и те отвечали им радостным лаем, во весь опор мчась в сгущающихся сумерках.

— Гей! Гей! — наперебой кричали люди, когда нарты круто сворачивали с дороги и накрепко набок, словно парусное суденышко под ветром.

И вот уже осталось каких-нибудь сто ярдов до освещенного, затянутого промасленной бумагой окошка, которое говорило об уюте жилья, пылающей юконской печке и дымящемся котелке с чаем. Но хижина оказалась занятой. С полсотни эскимосских псов угрожающе залаяли и бросились на собак первой упряжки. Дверь распахнулась, и человек в красном мундире северо-западной полиции, по колено утопая в снегу, водворил порядок среди разъяренных животных, хладнокровно и бесстрастно орудуя своим бичом. Мужчины обменялись рукопожатиями; вышло так, что чужой человек приветствовал Мэйлмюта Киду в его же собственной хижине.

Стэнли Принс, который должен был встретить его и позаботиться о вышеупомянутой юконской печке и горячем чае, был занят гостями. Их было человек десять—двенадцать, самая разношерстная компания, и все они состояли на службе у королевы — одни в качестве блюстителей ее законов, другие в качестве почтальонов и курьеров. Они были разных национальностей, но жизнь, которую они вели, выковала из них определенный тип людей — худощавых, выносливых, с крепкими мускулами, бронзовыми от загара лицами, с бесстрашной душой и невозмутимым взглядом ясных, спокойных глаз. Эти

люди ездили на собаках, принадлежащих королеве, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились ее скудными милостями и были довольны своей судьбой. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом.

Они чувствовали себя здесь как дома. Двое из них растянулись на койке Мэйлмюта Киду и распевали песни, которые пели еще их предки-французы, когда впервые появились в этих местах и стали брать в жены индейских женщин. Койка Беттлза подверглась такому же нашествию: трое или четверо voyageurs, закутав ноги одеялом, слушали рассказы одного из своих спутников, служившего под командой Вулзли, когда тот пробивался к Хартуму. А когда он кончил, какой-то ковбой стал рассказывать о королях и дворцах, о лордах и леди, которых он видел, когда Буффало Билл совершал турне по столицам Европы. В углу два метиса, старые товарищи по оружию, чинили упряжь и вспоминали дни, когда на Северо-Западе полыхал огонь восстания и Луи Рейл был королем.

То и дело слышались грубые шутки и еще более грубые остроты; о необыкновенных приключениях на суше и на воде говорилось как о чем-то повседневном и заслуживающем воспоминания только ради какого-нибудь острого словца или смешного происшествия. Принс был совершенно увлечен этими не увенчанными славой героями, которые видели, как творится история, но относились к великому и романтическому как к обыкновенным будням. Он с небрежной расточительностью угощал их своим драгоценным табаком, и в благодарность за такую щедрость разматывались ржавые цепи памяти и воскресали преданные забвению одиссеи.

Когда разговоры смолкли и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки, Принс обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях.

— Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой, — ответил Мэйлмют Кид, стаскивая мокасины, — а в жилах его товарища по койке течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки *coureurs du bois*, и один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что улеглись в дверях, чистокровные *bois brules*. Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом — сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А этот красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель, — француз-метис. Ты слышал,

какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— Ну, а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски, за весь вечер не проронил ни слова.

— Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться... Подбрось-ка дров в печку, — громко сказал Мэйлмют Кид, в упор глядя на незнакомца.

Тот сразу повиновался.

— К дисциплине его где-то приучили, — вполголоса заметил Принс.

Мэйлмют Кид кивнул, снял носки и стал пробираться к печке, между растянувшимися на полу людьми; там он развесил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь.

— Когда вы думаете попасть в Доусон? — спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем.

Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил:

— Туда, говорят, семьдесят пять миль? Если так, дня через два.

Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов.

— Бывали здесь раньше?

— Нет.

— Вы с северо-западных территорий?

— Да.

— Тамошний уроженец?

— Нет.

— Так откуда же вы родом, черт возьми? Видно, что вы не из этих. — Мэйлмют Кид кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке Принса. — Откуда вы? Я видел раньше такие лица, как ваше, но никак не припомню, где именно.

— А я знаю вас, — неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида.

— Откуда? Разве мы встречались?

— Нет. Мне говорил о вас священник в Пастилике, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал

вам обо мне?

— Ах, так вы тот самый человек, который менял выдр на собак?

Незнакомец кивнул, выбил трубку и вернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кид погасил светильник, и они с Принсом залезли под одеяло.

— Ну, кто же он?

— Не знаю. Не захотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. Восемь лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово! Приехал с Севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингова моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина, вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спрашивал, как проехать на юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортон. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у Пастилики, всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода.

Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и должен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по Северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры — а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в Пастилике жил русский купец, скупой как Шейлок, собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудак отправился на Юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры — великолепные! Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу по крайней мере пятьсот долларов чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цен на морскую выдру. Хоть он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых.

Когда море очистилось ото льда, мы узнали, что этот чудак запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и восемь лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимался и зачем пришел? Индеец неизвестно, где побывал. Привык,

видно, к дисциплине. А это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка Севера, попробуй ее раскусить, Принс.

— Благодарю покорно! У меня и своих много, — ответил тот.

Мэйлмют Кид уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.

На следующее утро, задолго до рассвета, курьеры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов ее величества и распоряжались судьбами ее подданных, не давали курьерам отдыха. Неделию спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к Соленой Воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки.

Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом Золотом Городе, где золотой песок льется как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубки. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследованные Скалистые горы на восток, а оттуда по долине Маккензи двинуться в знакомые места, в страну индейцев Чиппева. Двое-трое даже решили по окончании срока службы тем же путем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес.

Странный незнакомец был, казалось, чем-то встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец он отозвал в сторону Мэйлмюта Кида и некоторое время вполголоса с ним разговаривал. Принс с любопытством наблюдал за ними; и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мэйлмют Кид поставил на стол весы для золота, отвесил шестьдесят унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день

вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собой немного провизии и повернул обратно, по направлению к Доусону.

— Я положительно не понимаю, что все это значит, — сказал Мэйлмют Кид в ответ на вопросы Принса. — Бедняга твердо решил освободиться от службы. По-видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них, как в армии: он обязался служить два года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, который перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения, в случае если я дам ему денег — в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу, показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует.

Когда мы вышли, он чуть не плакал. Просил, умолял, валялся передо мной на коленях, пока я не поднял его. Болтал какую-то чепуху, как сумасшедший. Клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты, и не перенесет разочарования. Я спросил его, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через два попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видел, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему займы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю: «Считайте, что вы меня взяли в долю». Куда там! И слышать не хочет! Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу, сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, Принс, здесь что-то кроется, помни мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях.

— А если нет?

— Тогда великодушию моему будет нанесен удар и плакали мои шестьдесят унций.

Снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не появлялся. Но однажды в тусклое январское утро перед хижинной Кида у реки Стюарт остановилось несколько

ко тяжело нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он незримо присутствовал на ночных стоянках у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то, чтобы оживить его, достаточно было назвать имя женщины, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу.

Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое бывшее искусство и создали его по образу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. Семи футов росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти триста фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон — закон силы. Заиндевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе впереди собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мэйлмюта Киды, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг.

Обнажив свои белые, как у женщины, руки, Принс месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей — троих людей, каких не часто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мэйлмют Кид прозвал Улиссом, все еще интересовал молодого инженера; но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому что, с тех пор как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике и эта жизнь изнежила ее. Теперь она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мэйлмюта Киды. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали Принса, ибо Принс был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка. Но он не находил в

ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу; однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песка и земноводных обитателей северных морей, ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком, птицей или зверем на тонком снежном насте. Однако сейчас Принс заметил, как лукаво сверкнули ее глаза, когда она увидела на стене правила для обитателей стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Беттлзом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин Принс обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы подумал, что эта индианка... Ну, теперь уже ничего не поделаешь.

Так вот она какая, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь Север наравне с именем и славой ее мужа! За столом Мэйлмют Кид на правах старого друга поддразнивал ее, и Принс, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к нему. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе; он встал из-за стола прежде, чем остальные кончили есть, и вышел к собакам. Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки и последовать за ним.

Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улисс вел первую упряжку, а со второй шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кид и златокудрый гигант вели третью.

— Мы идем наудачу, Кид, — сказал Аксель Гундерсон, — но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнэ несколько лет тому назад.

Мне бы очень хотелось взять тебя с собой. Да он какой-то странный, клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город... Нет! Нет! — воскликнул он, не давая Киду перебить себя. — Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Криппл. Понимаешь, второй Криппл! Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за дело как следует, все достанется нам — миллионы и миллионы! Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город... тысячи рабочих, прекрасные водные пути, пароходные линии... Займемся фрахтовым делом, пустим в верховья легкие суда... Может быть, проложим железную дорогу... Потом построим лесопильные заводы, электростанцию... будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат... Только держи язык за зубами, пока я не вернусь!

Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулось к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым; его огромные канадские лыжи уходили на пол-ярда в рыхлый снег и уминали его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгнули, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного жожака.

Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.

2

Как-то вечером, несколько недель спустя, Мэйлмют Кид и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кид только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал блаженный отдых в хижине.

— Загородись черным конем и дай шах королю... Нет, так не годится. Смотри, следующий ход...

— Зачем продвигать пешку на две клетки? Ее

можно взять на проходе, а слон вне игры.

— Нет, стой! Тут не защищено, и...

— Нет, защищено. Валяй дальше! Вот увидишь, что получится.

Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мэйлмют Кид сказал: «Войдите!» Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принс посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мэйлмюта Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принс стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его смит-ивессон.

— Господи боже, кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Верно, обмороженный и голодный, — ответил Кид, отступая в противоположную сторону. — Берегись! Может быть, он даже сумасшедший, — предостерег он Принса, закрыв дверь.

Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек — потому что это все-таки был человек — отпрянул от стола, подтянул свои кожаные штаны и затащил песенку — ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря:

Корабль идет вниз по реке.

Налегай, молодцы, налегай!

Хочешь знать, как зовут капитана?

Налегай, молодцы, налегай!

Джонатан Джонс из Южной Каролины, Налегай, молодцы...

Песня оборвалась на полуслове, человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мэйлмюту Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мэйлмют Кид поставил перед ним. После того, как он пресытился сладким, Принс, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона.

Глаза этого существа светились мрачным безумием; оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажив-

шие старые рубцы. Сухая, потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях, мех с одной стороны подпален, а местами выжжен — видно, человек заснул у горящего костра.

Мэйлмют Кид показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками, — ужасный знак голода.

— Кто вы такой? — медленно, отчетливо проговорил Кид.

Человек будто не слышал вопроса.

— Откуда вы пришли?

— Корабль плывет вниз по реке, — дрожащим голосом затянул незнакомец.

— Плывет, и черт с ним! — Кид тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить более вразумительно.

Но человек вскрикнул, видимо, от боли, и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол.

— Она смеялась... и в глазах у нее была ненависть... Она... она не пошла со мной.

Он умолк и зашатался. Мэйлмют Кид крикнул, схватив его за руку:

— Кто? Кто не пошел?

— Она, Унга. Она засмеялась и ударила меня — вот так... А потом...

— Ну?

— А потом...

— Что потом?

— Потом он лежал на снегу тихо-тихо, долго лежал. Он и сейчас там.

Друзья растерянно переглянулись.

— Кто лежал на снегу?

— Она, Унга. Она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть, а потом...

— Ну? Ну?

— Потом она взяла нож и вот так — раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота, в этом месте очень много золота...

— Где Унга?

Может быть, эта Унга умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них. Мэйлмют Кид грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца:

— Где Унга? Кто такая Унга?

— Она там... в снегу.

— Говори же! — И Кид крепко сжал ему руку.

— Я тоже... остался бы... в снегу... но мне... надо уплатить долг... Надо уплатить... Тяжело нести... надо уплатить... долг... — Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи.

— Уплатить долг... пять фунтов золотом... Мэйлмюту Киду... Я...

Он упал головой на стол, и Мэйлмют Кид уже не мог поднять его.

— Это Улисс, — сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком. — Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. Давай положим его на койку, под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет.

Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди две ножевые раны.

3

— Я расскажу вам обо всем, как умею, но вы поймете. Я начну с самого начала и расскажу о себе и о ней, а потом уже о нем.

Человек подвинулся ближе к печке, словно боясь, что огонь, этот дар Прометея, вдруг исчезнет — так делают те, которые долго были лишены тепла. Мэйлмют Кид opravил светильник и поставил его поближе, чтобы свет падал на лицо рассказчика. Принс уселся на койку и приготовился слушать.

— Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего отца. Мужчины всю ночь работали веслами, а женщины выкачивали воду, которая заливала нас. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на груди моей матери и ее дыхание ушло вместе с приливом. А я, я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить. Наше становище было на Акатане...

— Где, где? — спросил Мэйлмют Кид.

— Акатан — это Алеутские острова. Акатан далеко за Чигником, за Кардалаком, за Унимаком. Как я уже сказал, наше становище было на Акатане, который лежит посреди моря на самом краю света. Мы добывали в соленой воде тюленей, рыбу и выдр; и наши хижины жались одна к другой на скалистом берегу, между опушкой леса и желтой отмелью, где лежали наши каяки. Нас было немного, и наш мир был очень мал. На востоке были чужие земли — острова вроде Акатана; и нам казалось, что мир — это острова, и мы привыкли к этой мысли.

Я отличался от людей своего племени. На песчаной отмели валялись гнутые брусья и покоровившиеся доски от большой лодки. Мой народ не умел делать таких лодок. И я помню, что на краю острова, там, где с трех сторон виден океан, стояла сосна — гладкая, прямая и высокая. Такие сосны редко растут в наших местах. Рассказывали, что как-то раз в этом месте высадил

лись два человека и пробыли там много дней. Эти двое приехали из-за моря на той лодке, обломки которой я видел на берегу. Они были белые, как вы, и слабые, точно малые дети в голодные дни, когда тюлени уходят и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я слышал этот рассказ от стариков и старух, а они от своих отцов и матерей. Вначале белым чужеземцам не нравились наши обычаи, но потом они привыкли к ним и окрепли, питаюсь рыбой и жиром, и стали свирепыми. Они построили себе по хижине, и они взяли себе в жены лучших женщин нашего племени, а потом у них появились дети. Так родился тот, кто стал отцом моего деда.

Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека, который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой. Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили, что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе. И они дали нам много других законов. Показали, как лучше ловить рыбу и охотиться на медведей, которых так много в наших лесах, и научили нас делать большие запасы на случай голода. И это было хорошо.

Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые могли бы им противиться, они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось только по одному человеку, которые могли передать потомству кровь тех, кто был до нас. В моей семье остался я, в другой — девочка Унга, которая жила со своей матерью. Как-то ночью наши отцы не вернулись с рыбной ловли, но потом, во время большого прилива, их тела прибило к берегу, и они, мертвые, лежали на отмели, крепко сцепившись друг с другом.

И люди дивились на эту вражду, а старики говорили, что вражда эта будет продолжаться и тогда, когда и у Унги и у меня родятся дети.

Мне говорили об этом, когда я был еще мальчишкой, и под конец я стал видеть в Унге врага, ту, чьи дети будут врагами моих детей. Я думал об этом целыми днями, а став юношей, спросил, почему так должно быть, и мне отвечали: «Мы не знаем, но так было при ваших отцах». И я дивился, почему те, которые придут за нами, обречены продолжать борьбу тех, кто уже ушел, и не видел в этом справедливости. Но люди племени говорили, что так должно быть, а я был тогда еще юношей.

Мне говорили, что я должен спешить, чтобы дети мои были старше детей Унги и успели раньше возмужать. Это было легко, ибо я возглавлял племя и люди уважали меня за подвиги и обычаи моих отцов и за богатство. Любая девушка охотно пришла бы в мою хижину, но я ни одной не находил себе по сердцу. А старики и матери девушек торопили меня, говоря, что многие охотники предлагают большой выкуп матери Унги, и если ее дети вырастут раньше, они убьют моих детей.

Но я все не находил себе девушки по сердцу. И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо мне в глаза. Дул свежий ветер, и каяки неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы, черные, как туча, развевались, на щеках блестели брызги. Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я был еще юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня — так смотреть могла одна Унга, — и я опять почувствовал, как кровь говорит во мне. Люди кричали нам, когда мы проносились мимо неповоротливых умиаков, оставляя их далеко позади. Унга быстро работала веслами, мое сердце было словно поднятый парус, но я не мог ее догнать. Ветер крепчал, море покрылось белой пеной, и, прыгая, словно тюлени по волнам, наши каяки скользили по золотой солнечной дорожке.

Наас сгорбился на стуле, словно он опять, работая веслами, гнался по морю в своем каяке. Быть может, там, за печкой, виделся ему несущийся каяк и развевающиеся волосы Унги. Ветер свистел у него в ушах, и в ноздри бил соленый запах моря.

— Она причалила к берегу, и, смеясь, побежала по песку к хижине своей матери. И в ту ночь великая мысль посетила меня — мысль, достойная того, кто был вождем народа Акатана. И вот, когда взошла луна, я направился

к хижине ее матери и посмотрел на дары Яш-Нуша, сложенные у дверей, — дары Яш-Нуша, отважного охотника, который хотел стать отцом детей Унги. Были и другие, которые тоже складывали свои дары грудой у этих дверей, а потом уносили их назад нетронутыми, и каждый старался, чтобы его груды были больше чужой.

Я посмотрел на луну и звезды, засмеялся и пошел к своей хижине, где хранились мои богатства. И много раз я ходил туда и обратно, пока моя груды не стала выше груды Яш-Нуша на целую ладонь. Там была копченая и вяленая рыба, и сорок тюленьих шкур, и двадцать котиковых, причем каждая шкура была перевязана и наполнена жиром, и десять шкур медведей, которых я убил в лесу, когда они выходили весной из своих берлог. И еще там были бусы, и одеяла, и пунцовые ткани, которые я выменял у людей, живущих на востоке, а те, в свою очередь, выменяли их у людей, живущих еще дальше на востоке. Я посмотрел на дары Яш-Нуша и засмеялся, ибо я был вождем Акатана, и мое богатство было больше богатства всех остальных юношей, и мои отцы совершали подвиги и устанавливали законы, навсегда оставив свои имена в памяти людей.

А когда наступило утро, я спустился на берег и краешком глаза стал наблюдать за хижинной матери Унги. Дары мои стояли нетронутыми. И женщины хитро улыбались и тихонько переговаривались между собой. Я не знал, что подумать: ведь никто прежде не предлагал такого большого выкупа. И в ту ночь я прибавил много вещей, и среди них был каяк из дубленой кожи, который еще не спускали на воду. Но и на следующий день все оставалось нетронутым, на посмешище людям. Мать Унги была хитра, а я разгневался за то, что она позорила меня в глазах моего народа. И в ту ночь я принес к дверям хижины много других даров, и среди них был мой умиак, который один стоил двадцати каяков. Наутро все мои дары исчезли.

И тогда я начал готовиться к свадьбе, и на потлач к нам пришли за угощением и подарками даже люди, жившие далеко на востоке. Унга была старше меня на четыре солнца, — так считаем мы годы. Я в ту пору еще не вышел из юношеских лет, но я был вождем и сыном вождя, и молодость не была помехой.

И вот в океане показалось парусное судно, и оно приближалось с каждым порывом ветра. В нем, как видно, была течь — матросы торопливо откачивали воду насосами. На носу стоял

человек огромного роста; он смотрел, как измеряли глубину, и отдавал приказания громовым голосом. У него были синие глаза — цвета глубоких вод, и грива, как у льва. Волосы у этого великана были желтые, словно пшеница, растущая на юге, или манильская пенька, из которой матросы плетут канаты.

В последние годы мы не раз видели проплывающие вдаль корабли, но этот корабль первый пристал к берегу Акатана. Пир наш был прерван, дети и жены разбежались по домам, а мы, мужчины, схватились за луки и копья. Нос судна врезался в берег, но чужестранцы, занятые своим делом, не обращали на нас никакого внимания. Как только прилив спал, они накрепко шхуну и стали чинить большую пробоину в днище. Тогда женщины опять выползли из хижин, и наше пиршество продолжалось.

С началом прилива мореплаватели отвели свою шхуну на глубокое место и пришли к нам. Они принесли с собой подарки и были дружелюбны. Я усадил их у костра и щедро преподнес им такие же подарки, как и другим гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был первым человеком на Акатане. Человек с львиной гривой тоже пришел к нам. Он был такой высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью его шагов. Он долго и пристально смотрел на Унгу, сложив руки на груди — вот так, и не уходил, пока не зашло солнце и не зажглись звезды. Тогда он вернулся на свой корабль. А я взял Унгу за руку и повел ее к себе в дом. И все вокруг пели и смеялись, а женщины подшучивали над нами, как это всегда бывает на свадьбах. Но мы ни на кого не обращали внимания. Потом все разошлись по домам и оставили нас вдвоем.

Шум голосов еще не успел затихнуть, как в дверях появился вождь мореплавателей. Он принес с собой четыре бутылки, мы пили из них и развеселились. Ведь я был еще совсем юношей и все свои годы прожил на краю света. Кровь моя стала, как огонь, а сердце — легким, как пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы. Унга молча сидела в углу на шкурах, и глаза ее были широко раскрыты от страха. Человек с гривой пристально и долго смотрел на нее. Потом пришли его люди с тюками и разложили передо мной богатства, равным которых не было на всем Акатане. Там были ружья, большие и маленькие, порох, патроны и пули, блестящие топоры, стальные ножи и хитроумные орудия и другие необыкновенные вещи, которых я никогда не видел. Ког-

да он показал мне знаками, что все это — мое, я подумал, что это великий человек, если он так щедр. Но он показал мне также, что Унга должна пойти с ним на его корабль! Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем. Но дух, заключенный в бутылках, отнял силу у моей руки, и человек с львиной гривой схватил меня за горло — вот так, и ударил головой об стену. И я ослабел, как новорожденный младенец, и ноги мои подкосились. Тогда тот человек потащил Унгу к двери, а она кричала и цеплялась за все, что попадалось ей на пути. Потом он подхватил ее своими могучими руками, и когда она вцепилась ему в волосы, он загоготал, как большой тюлень-самец во время случки.

Я дополз до берега и стал кричать, сзывая своих, но никто не решался выйти. Один Яш-Нуш оказался мужчиной. Но его ударили веслом по голове, и он упал лицом в песок и замер. Чужестранцы под звуки песни подняли паруса, и корабль их понесся, подгоняемый ветром.

Народ говорил, что это к добру, что не будет больше кровавой вражды на Акатане. Но я молчал и стал ждать полнолуния. Когда оно наступило, я положил в свой каяк запас рыбы и жира и отплыл на восток. По пути мне попадалось много островов и много людей; и я, который жил на краю света, понял, что мир очень велик. Я объяснялся знаками. Но никто не видел ни шхуны, ни человека с львиной гривой, и все показывали дальше на восток. И я спал где придется, ел непривычную мне пищу, видел странные лица. Многие смеялись надо мной, принимая за сумасшедшего, но иногда старики поворачивали лицо мое к свету и благословляли, а глаза молодых женщин увлажнялись, когда я рассказывал о загадочном корабле, об Унге, о людях с моря.

И вот через суровые моря и бушующие волны я добрался до Уналашки. Там стояли две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. И я поехал дальше на восток, и мир становился все больше, но никто не слышал о том корабле ни на острове Унимаке, ни на Кадьяке, ни на Афогнаке. И вот однажды я прибыл в скалистую страну, где люди рыли большие ямы на склонах гор. Там стояла шхуна, но не та, что я искал, и люди грузили ее камнями, добытыми в горах. Это показалось мне детской забавой, — ведь камни повсюду можно найти; но меня накормили и заставили работать. Когда шхуна глубоко осела в воде, капитан дал мне денег и отпустил. Но я спросил его, куда он

держит путь, и он указал на юг. Я объяснил ему знаками, что хочу ехать с ним; сначала он рассмеялся, но потом оставил меня на шхуне, так как у него не хватало матросов. Там я научился говорить на их языке, и тянуть канаты, и брать рифы на парусах во время шквала, и стоять на вахте. И в этом не было ничего удивительного, ибо в жилах моих отцов текла кровь мореплавателей.

Я думал, что теперь, когда я живу среди белых людей, мне будет легко найти того, кого я искал. Когда мы достигли земли и вошли через пролив в порт, я ждал, что вот сейчас увижу много шхун — ну, столько, сколько у меня пальцев на руках. Но их оказалось гораздо больше, — как рыб в стае, и они растянулись на много миль вдоль берега. Я ходил с одного корабля на другой и всюду спрашивал о человеке с львиной гривой, но надо мной смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что эти корабли пришли сюда со всех концов света.

Тогда я отправился в город и стал заглядывать в лицо каждому встречному. Но людей в городе было не счесть, — как трески, когда она густо идет вдоль берега. Шум оглушил меня, и я уже ничего не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки. Но я продолжал свой путь — через страны, звеневшие песней под горячим солнцем, страны, где на полях созревал богатый урожай, где большие города были полны мужчин, изнеженных, как женщины, лживых и жадных до золота. А тем временем на Акатане мой народ охотился, ловил рыбу и думал, что мир мал, и был счастлив в своем неведении.

Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час. Она шла по тихим переулкам в вечерние сумерки и следовала за мной по тучным полям, влажным от утренней росы, и глаза ее обещали то, что могла дать только Унга.

Я прошел тысячи городов. И люди, жившие в этих городах, то жалели меня и давали пищу, то смеялись, а некоторые встречали бранью. Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям и видел многое, что было чуждо мне. Часто я, вождь и сын вождя, работал на людей грубых и жестких, как железо, — людей, которые добывали золото потом и кровью своих братьев. Но нигде я не получил ответа на свой вопрос о людях, которых искал, до тех пор, пока не вернулся к морю, как морж на лежбище. Это было уже в другом порту, в другой стране, которая

лежит на Севере. И там я услышал рассказы о желтоволосом морском бродяге и узнал, что сейчас он в океане охотится за тюленями.

Я сел на охотничье судно с ленивыми сивашами, и мы пустились по пути, не оставляющему следов, на север, где в то время шла охота на тюленей. Мы провели не один томительный месяц на море и всюду расспрашивали о том, кого я искал, и слышали многое о нем, но самого его не встретили нигде.

Мы отправились дальше на север, к островам Прибылова, и били тюленей стадами на берегу, и приносили их еще теплыми на борт; и наконец на палубе стало так скользко от жира и крови, что нельзя было удержаться на ногах. За нами погнался корабль, который обстрелял нас из больших пушек. Мы подняли все паруса, так что наша шхуна стала зарываться носом в волны, и быстро скрылись в тумане.

Потом я слышал, что, пока мы в страхе спасались от преследования, желтоволосый бродяга высадился на островах Прибылова, пришел в факторию, и в то время, как часть его команды держала служащих взаперти, остальные вытащили из склада десять тысяч сырых шкур и погрузили на свой корабль. Это слухи, но я им верю. В своих скитаниях я никогда не встречал этого человека, но слава о нем и о его жестокости и отваге гремела по северным морям, так что, наконец, три народа, владевшие землями в тех краях, снарядили корабли в погоню за ним. Я слышал и об Унге, многие капитаны пели ей хвалу, прославляя ее в своих рассказах. Она была всегда с ним. Говорили, что она переняла обычаи его народа и теперь счастлива. Но я знал, что это не так, — я знал, что сердце Унги рвется назад к ее народу, к песчаным берегам Акатана.

Прошло много времени, и я вернулся в гавань, которая служит воротами в океан, и там я узнал, что желтоволосый ушел охотиться на котиков к берегам теплой страны, которая лежит южнее русских морей. И я, ставший к тому времени настоящим моряком, сел на корабль вместе с людьми его крови и понесся следом за ним на охоту за котиками.

Немногие корабли отправлялись туда, но мы напали на большое стадо котиков и всю весну гнали его на север. И когда брюхатые самки повернули в русские воды, наши матросы испугались и стали роптать, потому что стоял сильный туман и шлюпки гибли каждый день. Они отказались работать, и капитану пришлось повернуть судно обратно. Но я знал, что желтово-

лосый бродяга ничего не боится и будет преследовать стадо вплоть до русских островов, куда не многие решаются заходить. И вот темной ночью я взял шлюпку, воспользовавшись тем, что вахтенный задремал, и поплыл один в теплую страну. Я держал курс на юг и вскоре очутился в бухте Иеддо, где встретил много непокорных и отважных людей. Девушки Иошивары были маленькие, красивые и быстрые, как ртуть. Но я не мог там оставаться, зная, что Унга несется по бурным волнам к берегам Севера.

В бухте Иеддо собрались люди со всех концов света; у них не было родины, они не поклонялись никаким богам и плавали под японским флагом. И я отправился с ними к богатым берегам Медного острова, где наши трюмы доверху наполнились шкурами. В этом безлюдном море мы никого не встретили, пока не повернули обратно. Однажды сильный ветер рассеял туман, и мы увидели позади нас шхуну, а в ее кильватере дымящиеся трубы русского военного судна. Мы понеслись вперед на всех парусах, а шхуна нагоняла нас, делая три фута, пока мы делали два. И на корме шхуны стоял человек с львиной гривой и, схватившись за поручни, смеялся, гордясь своей силой. И Унга была с ним — я тотчас же узнал ее, — но когда пушки русских открыли огонь, он послал ее вниз. Как я уже сказал, шхуна делала три фута на два наших, и, когда налетала волна, можно было видеть ее днище. Я с проклятиями ворочал штурвалом, не оглядываясь на грохочущие пушки русских. Мы понимали, что он хочет обогнать наше судно и уйти от погони, пока русские будут возиться с нами. У нас сбили мачты, и мы неслись по ветру, как раненая чайка, а он исчез на горизонте — он и Унга.

Что нам было делать? Свежие шкуры говорили сами за себя. Нас отвели в русскую гавань, а оттуда послали в пустынную страну, где заставили работать в соляных коях. И некоторые умерли там, а некоторые... остались жить.

Наас сбросил одеяло с плеч и обнажил тело, исполосованное страшными рубцами. То были, несомненно, следы кнута. Принс торопливо прикрыл его вновь: зрелище было не из приятных.

— Долго мы томились там. Иногда люди убегали на юг, но их неизменно возвращали назад. И вот однажды ночью мы — те, кто был из бухты Иеддо, — отняли ружья у стражи и двинулись на север. Кругом тянулись непроходимые болота и дремучие леса, и конца им не было видно. Настали холода, земля покрылась

снегом, а куда нам идти, никто не знал. Долгие месяцы бродили мы по необъятным лесам — я всего не помню, потому что у нас было мало пищи, и часто мы ложились и ждали смерти. Наконец трое из нас достигли холодного моря. Один из троих был капитан из Иеддо. Он знал, где лежат большие страны, и помнил место, где можно перейти по льду из одной страны в другую. И капитан повел нас туда. Сколько мы шли, не знаю, но это было очень долго, и под конец нас осталось двое. Мы дошли до места, о котором он говорил, и встретили там пятерых людей из того народа, что живет в этой стране; и у них были собаки и шкуры, а у нас не было ничего. Мы бились с ними на снегу, и ни один не остался в живых, и капитан тоже был убит, а собаки и шкуры достались мне. Тогда я пошел по льду, покрытому трещинами, и меня унесло на льдине и носило до тех пор, пока западный ветер не прибил ее к берегу. Потом была бухта Головина, Пастилик и священник. Потом — на юг, на юг, в теплые страны, где я уже был раньше.

Но море уже не давало большой добычи, и те, кто отправлялся на охоту за котиками, многим рисковали, а выгоды получали мало. Суда попадались редко, и ни капитаны, ни матросы ничего не могли сказать мне о тех, кого я искал. Тогда я ушел от беспокойного океана и пустился в путь по суше, где растут деревья, стоят дома и горы и ничто не меняет своих мест. Я много где побывал и научился многому, даже читать книги и писать. И это было хорошо, ибо я думал, что Унга тоже, верно, научилась этому и что когда-нибудь, когда придет наш час, мы... вы понимаете?.. когда придет наш час...

Так я скитался по свету, словно маленькая рыбацья лодка, которая, поднимая парус, оказывается во власти ветров. Но глаза и уши мои были всегда открыты, и я держался поближе к людям, которые много путешествовали, ибо, думалось мне, нельзя забывать тех, кого я искал. Наконец я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота — большие, как горошины. Он слышал о них, он встречал их, он знал их. Они богаты, рассказывал этот человек, и живут там, где добывают золото.

Это была далекая дикая страна, но я добрался и туда и увидел лагерь в горах, где люди работали день и ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал — они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там

богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно: мне хотелось посмотреть, что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевые, — так хорошо там было! И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой, хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом, — в ней всегда чувствовалась чужая кровь, и она не была похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя, и я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами.

Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей. И я отправился в Англию, а потом в другие страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали; и я понял, что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле.

Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и наконец добрался до Кутнэя, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на Юкон. И я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость оттого, что мир так велик.

В Кутнэе мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник — метис с Северо-Запада — не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому не ведомым путем, через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота.

В то время люди ринулись на Север. Я был беден. Я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь! Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп.

Дальше? Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел

сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских морей.

Как вы знаете, я повел Гундерсона и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда не многие возвращались. Я повел их туда, где вперемешку с костями осыпанное проклятиями лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по снежной целине было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскрыется река. По дороге мы устраивали хранилища и оставляли там часть припасов, чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голода на обратном пути. В Мак-Квещене жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья, другое — в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей; перед нашими глазами была только спящая река, недвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше восьми — десяти миль, а ночью засыпали как убитые. И ни разу спутникам моим не пришлось в голову, что я Наас, вождь Акатана, решивший отомстить за обиду.

Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилища разорили росомахи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед. И вот на одном месте у нас провалилась упряжка, которую я вел, но он и Унга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов и везли их самые сильные собаки.

Но он смеялся, потому что жизнь была в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным.

— Возвращаться будем налегке, без нарт и собак, — говорил он, — и станем делать переходы от хранилища к хранилищу.

И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало; и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были

кости и проклятое людьми золото.

Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор — карта оказалась верной, — нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в долину, но кругом расстиралось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Не будь мы моряками, у нас закружилась бы голова. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где можно спуститься вниз. С одной стороны — только с одной стороны — скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так.

— Это преддверие ада, — сказал он. — Сойдем вниз.

И мы спустились.

На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги; у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся; третьего задрал медведь; четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода.

Так кончали все, они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан не нужным никому золотом, как в сказке!

Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова.

— Нам нечего есть, — сказал он. — Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим.

И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбивая заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь.

Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы — припасов там не было. Я так ловко сделал, что он подумал, будто всему виной росомахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества, она

улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой.

— Мы проведем ночь у костра, — сказала она, — и подкрепимся мокасинами.

И мы отрезали по несколько полосок от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь, — иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было пять дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь.

— Мы пойдем вперед и будем охотиться, — сказал он.

— Да, — повторил я, — мы пойдем вперед и будем охотиться.

И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем. А мы пошли. Он на поиски лося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь, на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами.

Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только об Унге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последней минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но наутро он опять пошел дальше, бормоча проклятия. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было съесть сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были с Унгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток. Но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я шел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова, — его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя: я заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами.

Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями, — людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Ян-Нуш шел рядом со мной, в волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что час мой близок и словно видел обещание в глазах Унги.

Как я сказал, мы пробирались через лес, и, наконец, дым костра защекотал нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропатку у него из зубов. Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо. И даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груды даров на снегу, и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба, у него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились! Он показывал на меня. Потом вытянулся на снегу... Он и сейчас лежит там.

Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропатку. А потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась — вот так, глядя на меня широко открытыми глазами, — и спросила, кто я и откуда знаю этот язык.

— Я Наас, — сказал я.

— Наас? — крикнула она. — Это ты? — и подползла ко мне ближе.

— Да, — ответил я. — Я Наас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты — последняя из своего рода.

И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди Белого Безмолвия, наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной.

— Успокойся, — сказал я, думая, что она бредит. — Подкрепись и пойдем. Путь до Акатана долг.

Но Унга спрятала лицо в его желтую гриву и смеялась так, что, казалось, еще немного, и само небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость.

— Идем! — крикнул я, крепко беря ее за руку. — Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!

— Куда? — спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться.

— На Акатан, — ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет.

Но оно стало похожим на его лицо: та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах.

— Да, — сказала она, — мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан. Ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьим жиром, и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь. Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы! Как это хорошо! Идем! Надо спешить. Вернемся на Акатан.

И она провела рукой по его желтым волосам и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах.

Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы и как она рвала ему волосы — волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал когда-то он, поднял ее и понес. Как в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих морях и краях, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И, рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала вдоль берега к материнскому дому. Исчезли мучительная усталость, и голод, и томительное ожидание. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей

на грудь и забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но вдруг ненависть зажглась у нее в глаза, и рука потянулась к моему поясу. И она ударила меня ножом, вот так — раз, два.

— Собака! — крикнула Унга, толкая меня в снег. — Собака! — Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу.

Как я уже сказал, Унга ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо мной тяготел долг, и я не мог думать о покое.

А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Мак-Квещене, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом, как я добрался сюда, нашел пищу, тепло — не помню, ничего не помню.

Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени.

— Но как же Унга?! — воскликнул Принс, потрясенный рассказом.

— Унга? Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом в его желтые волосы. Я придвинул костер ближе, чтобы ей было теплее, но она отползла. Я развел еще один костер, с другой стороны, но и это ничему не помогло, — ведь она отказывалась от еды. И вот так они и лежат там на снегу.

— А ты? — спросил Мэйлмют Кид.

— Я не знаю, что мне делать. Акатан мал, я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Констэнтайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею — вот так, и я крепко усну, крепко... Я впрочем... не знаю.

— Послушай, Кид! — возмутился Принс. — Ведь это же убийство!

— Молчи! — строго сказал Мэйлмют Кид. — Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить.

Наас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой пронеслись далекие видения.

УЧИТЕЛЮ

И

УЧЕНИКУ

Вопросы к обсуждению сборника рассказов Джека Лондона

В конце практически каждого номера «Путеводной звезды» редакция предлагает вопросы для обсуждения прочитанного произведения – в классе, библиотеке или в кругу семьи. В журнале «Путеводная звезда. Школьное чтение» № 2 за 2026 год опубликованы произведения классика мировой литературы Джека Лондона – рассказы из цикла «Сын Волка». Действие всех историй происходит на севере Америки. Джек Лондон хорошо знал Аляску, ведь под влиянием «золотой лихорадки» он отправился туда в надежде стать состоятельным человеком. Полученный опыт писатель удачно воплотил в своих произведениях. Рассказы сборника «Сын волка» впервые были опубликованы в 1900 году. Но и сейчас читатели всего мира по-прежнему сопереживают искателям приключений и храбрецам, которым порой приходится делать выбор между жизнью и смертью, которых отличает мужество и воля к жизни.

Надеемся, эти вопросы помогут вам составить интересный разговор о рассказах Джека Лондона.

1

Какие произведения Джека Лондона вы читали до знакомства с рассказами из сборника «Сын Волка»? Какое из них вам особенно запомнилось? Почему?

2

Что такое «золотая лихорадка»? Когда и где она началась?

3

Почему Мэйлмют Кид, герой рассказа «Белое безмолвие», убил друга? Что такое в вашем понимании «белое безмолвие»?

4

В чем смысл Закона Волка, как индейцы называли белого человека? Как к этому закону относится автор рассказов?

5

Как вы думаете, почему многие золотоискатели не вынесли испытаний Севера?

6

Какие чувства у вас вызывает индеец-проводник Ситка Чарли? Вы согласны с его «мудростью снежной тропы»? Или она вызывает у вас протест?

7

Расскажите о Мэйлмюте Киде – герое, который встречается в нескольких рассказах. Почему он не может не вызвать симпатию?

Журналы Российского детского фонда

Став инициатором создания и учредителем нескольких журналов, Российский детский фонд считает их своей нравственной программой защиты детей, программой помощи взрослым — учителям, врачам, родителям, вообще — защитникам детства. Поэтому, привлекая внимание взрослых к этому своему

проекту, прежде всего губернаторов, глав территорий, руководителей органов образования, здравоохранения, социальной защиты, иных госструктур, в полномочия и задачи которых, безусловно, входит духовная защита детства, Российский детский фонд надеется на партнерство и сотрудничество.

Наши координаты для связи:

101990, Москва, Армянский пер., 11/2а.

Тел. (495) 625 82 00, факс (495) 624 24 90. E-mail: izdatelstvo@defond.org



Журнал «Путеводная звезда. Школьное чтение» (с 1996 по 2000 год — «Школьная роман-газета») рекомендован Министерством образования РФ для программного и внеклассного чтения всех средних учебных заведений. «Путеводная звезда» — это еще и помощь учителю литературы, истории и иных гуманитарных дисциплин. В конце каждого номера публикуется конспект учительских вопросов ученикам, которые позволяют провести содержательный диалог по обсуждению каждого опубликованного произведения. Внутри номера — журнал в журнале «Большая перемена», постоянно публикующий письма, стихи и прозу детей, публицистику, обращенную к ним, юмор, а также другие материалы.

Подписные индексы журнала «Путеводная звезда. Школьное чтение»:
в каталоге «Роспечать» — 72722 (полугодовой), 71895 (годовой),
в каталоге «Почта России» — П 1953, П 5924 (годовой).

Ярко иллюстрированный журнал для детей и юношества. Издается по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его цель — православное воспитание и просвещение. В увлекательной форме журнал рассказывает о тысячелетней истории Русской Православной Церкви, о нашем Отечестве — его духовной основе, культуре и искусстве. Материалы «Божьего мира» могут быть использованы на занятиях в православных гимназиях, в школах — воскресных и общеобразовательных, для чтения в семейном кругу. Выходит 6 раз в год.

Подписные индексы журнала «Божий мир»:
в каталоге «Роспечать» — 71168,
в каталоге «Почта России» — П 5266.



«Дитя человеческое» — это журнал для родителей, учителей, врачей — всех, кому дороги дети и детство. А еще у него есть подзаголовок: взрослым о детях. Журнал публикует законы Российской Федерации, а также наиболее значимые законы регионов на тему детства. Публикует материалы об образовании и здоровье детей, постоянно специальные свои номера он посвящает положению детей в России — как независимые доклады общественной организации взрослых в защиту детства — Российского детского фонда. Публикуются репортажи и иные материалы о работе общественных организаций страны, Российского детского фонда, Международной ассоциации детских фондов. Цветное иллюстрированное издание. Выходит 6 раз в год.

Подписные индексы журнала «Дитя человеческое»:
в каталоге «Роспечать» — 72462, в каталоге «Почта России» — П 5192.



Общероссийский общественный благотворительный фонд «**РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД**»



**QR-код
для финансовой
поддержки**

Российский детский фонд – это организация взрослых в защиту детства. Является правопреемником Советского детского фонда им. В. И. Ленина, учредительное собрание которого состоялось 14 октября 1987 года в Колонном зале Дома Союзов.

Российский детский фонд – это первая и самая крупная в стране благотворительная организация.

Отделения Фонда работают в 67 регионах.

Почти 40 лет помощь получают страждущие дети – сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей, те, чьи родители погибли, выполняя служебный долг... Все те, кто остро нуждается в поддержке.

Работа активно ведется по 30 программам, среди которых «1 июня – Международный день защиты детей», «Дети Донбасса», «Панда», «Начеку!», «Духовная защита», «Детский туберкулёз», «Детский диабет», «За решёткой – детские глаза», проекты «Мили доброты» и «Звуки жизни»...

Девиз Фонда:

«Ни дня без доброго дела!»

Главный принцип:

**«Дети вне политики, вне
национальности»**

Во времена трудных испытаний Детский фонд всегда был вместе со страной. И всегда – на переднем крае.

Вы можете стать Волонтером Российского детского фонда! Присоединяйтесь к нам!

Российский детский фонд

Адрес:

101990 Москва, Армянский пер. 11/2а

Телефоны:

+7 (495) 625-82-00 (приёмная Председателя Фонда)

+7 (495) 623-10-95 (секретариат)

Электронная почта:

info@detfond.org